

ВЛАДИМИР МАРКОВ

# ПРИГЛУШЁННЫЕ ГОЛОСА

## ПОЭЗИЯ ЗА ЖЕЛЕЗНЫМ ЗАНАВЕСОМ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА
Нью-Йорк

ВЛАДИМИР МАРКОВ

# ПРИГЛУШЁННЫЕ ГОЛОСА

## Поэзия за железным занавесом



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк 1952

Printed in the United States of America

# ПРЕДИСЛОВИЕ

## I

Составитель антологии послереволюционной русской поэзии неизбежно наталкивается на вереницу трудностей и западней, хотя, казалось бы, поэтов было достаточно, течения имеют всем известные названия, а такая дата, как 1917 год, ясно и отчетливо ставит веху на пути развития литературы. Прежде всего, открывается легкий путь «репрезентативного подбора», при котором каждое поэтическое направление представлено двумя-тремя стихотворениями типичных главарей и участников, и антология удобно следует по канве учебника истории литературы. Тогда читателю преподносятся бесконечно далекие от поэзии «пролетарские поэты», безвкусные имажинисты и почти не существовавшие конструктивисты. Такую антологию никто не читает. С другой стороны, некоторых поэтов, которых читают, переписывают и учат наизусть, не найдешь даже в многотомной энциклопедии. Примером может служить хотя бы Николай Заболоцкий.

Отсюда напрашивается вывод, что лучше давать читателю представление не о литературных группировках и литературной «политике», а о подлинных поэтах, которых можно любить, которые могут заинтересовать и захватить, за которыми идет та или иная часть читающего стихи юношества.

Конечно, трудно (но вряд ли невозможно) найти одного человека, которого «захватывают» все поэты, представленные в этой книге. Кого-то он обязатель-

но будет отвергать, то ли исходя из собственного вкуса, то ли основываясь на своем отношении к личности поэта. Наше время не помогает воспитанию в человеке терпимости и гармонического восприятия многообразной современной поэзии, а тут еще и сама поэзия развивается до сих пор по двум ясно-выраженным и едва ли пока примиримым направлениям: одно продолжает традиции акмеизма, другое идет из футуризма. Не надо забывать и того, что часто не могут сговориться любители неприкрыто-эмоциональной лирики и адепты утонченной углубленности. Во всяком случае, мир, в котором поклонники Есенина запоем читают Мандельштама, а почитатели Ахматовой восхищаются Заболоцким, до сих пор представляется почти «хлебниковской» утопией. Но всё это не говорит еще о том, что не настало время произвести кое-какие переоценки и отказаться от некоторых весьма распространенных оценочных шаблонов. Может быть, антология посильно поможет и в этом.

За последнее время в зарубежной прессе не раз делались попытки составить мартиролог советской литературы. Почти всегда такие списки пестрели спорными именами, но в их основе лежит большая и скорбная правда: список лучших имен советской литературы в самом деле читается как мартиролог, как перечисление жертв величайшей в мире расправы над культурой. Неудивительно, поэтому, что и оглавление нашей антологии выглядит таким списком. Может быть, не все из них подходят под термин «жертва», но границу часто бывает трудно провести. Творческое самоубийство, даже не вполне осознанное автором, иногда тяжелее физического. В свое время Р. Якобсон писал: «Не только те, кто убит, но и к ложу болезни прикованные Блок и Хлебников именно погибли»*). Гибель тут самое подходящее слово; ги-

---

*) Р. Якобсон — О поколении, растратившем своих поэтов (Смерть В. Маяковского. Берлин. 1931)

белью кончаются или недалеко от гибели проходят судьбы чуть ли не всех поэтов, представленных здесь. Гибелью кончил такой, казалось бы, «советский» поэт, как Маяковский; есть основания полагать, что только преждевременная смерть спасла Багрицкого от подобного же конца (она не спасла его от посмертного развенчания).

Может быть, эти соображения смогут послужить ответом на вопрос, почему антология не кончается на Симонове, поэте с самым крупным именем среди последнего поколения. Симонов не только не преследовался, он сам преследовал других и унижался до роли литературного опричника. К тому же его творчество, даже в лучших образцах (военных лет), не достигает поэтического уровня других поэтов этой антологии. Короче говоря, он не заслуживает их общества. Интересно, что его лучшая книга стихов «С тобой и без тебя» вызвала недавно нападки со стороны следящих за тем, чтобы стихи, не дай Бог, опять не поднялись до поэзии. Это лишнее доказательство того, что даже случайный проблеск настоящей поэзии в стихах приводит поэта к неизбежному конфликту с «вершителями судеб».

Даже выбрав поэтов в каком-то смысле бесспорных (хотя бы и с разных точек зрения), хочется снова избежать злосчастной «репрезентативности» и дать поэзию, а не одних поэтов. Поэтому опускаются весьма посредственные (хотя некогда и превознесенные критиками) имажинистские поэмы Есенина; подчас хлесткие, но не имеющие отношения к поэзии, газетные сатиры Маяковского или большинство упражнений в прозе Сельвинского, которые он, к сожалению, считал стихами. Из этого качественного испытания с наивысшей честью выходят Пастернак и Мандельштам, которые меньше остальных кричали о себе и о своем творчестве и не заботились о создании собственной легенды в глазах легковерного читателя; однако среди их стихов выбирать труднее всего, пото-

му что хочется взять слишком многое; они никогда не проституировали свою лиру и почти никогда не старались обмануть самих себя, что, как известно, для поэта является наихудшим видом обмана.

При составлении пришлось встретиться еще с одной трудностью. Большинство представленных здесь поэтов сложилось или начало поэтическую деятельность до революции, причем этот дореволюционный период иногда или настолько значителен сам по себе или настолько неотделим от последующего, что было бы досадно помещать в книгу лишь половину (подчас не лучшую) творчества поэта. Поэтому Мандельштам, Клюев, Есенин, Хлебников и Маяковский представлены также в своем раннем творчестве, с чем, может быть, не согласятся строгие разделители, но на что вряд ли посетует читатель.

Чтобы хоть как-то донести самый облик поэта, ускользающий обычно в антологическом подборе, принимались стихи: популярные (но не слишком затрепанные и «запетые»); характерные; более или менее полно выражающие взгляд поэта на мир и творчество; и, наконец, по модному выражению, «отражающие эпоху» — но при этом применялся метод разумного компромисса, и в конечном счете решало качество.

Таким образом, общей целью антологии было дать лучшие образцы творчества поэтов, живших в советское время (затрагивая в некоторых случаях и дореволюционное творчество), но в то же время поместить и те стихи, где слышен «шум времени»*), где проступает — прямо или косвенно — отношение поэтов к эпохе, в которую они жили. Выполнение первой задачи всегда будет страдать от неизбежной субъективности выбора составителя (поэтому ни одна антология на свете не будет совершенной); тогда

*) Выражение О. Мандельштама.

как разрешение второй задачи требует иногда включения менее совершенных стихотворений.

В конце перечня Сцилл и Харибд, подстерегавших составителя антологии, хочется еще заметить, что при подборе не принималось во внимание довольно абсурдное (но все еще имеющее место) деление стихов на «понятные» и «для немногих». Дать меньше, чем нужно, Мандельштама, Хлебникова и Пастернака — то есть, так называемых «трудных» поэтов значило бы, по мнению составителя, просто совершить насилие над одной из лучших страниц русской поэзии. Эти три поэта незаслуженно мало популярны (о Пастернаке, правда, много говорят, но мало читают), и их недоступность просто преувеличена. Любителям же точек над «i» неплохо отвечают строки одного современного поэта:

Не для того я побывал в аду,
Над ремеслом спины не разгибая,
Чтобы стихи вела на поводу
Обозная гармошка краснобая. *)

Те, кто согласны, что стихи это не приятное развлечение, а форма жизни (как в творческом, так и в читательском плане), не будут против этого протестовать.

В заключение хочется еще добавить, что количество поэтов можно было увеличить, можно было дать некоторые стихи В. Каменского, погибшего в подвалах НКВД С. Клычкова, Н. Асеева, Антокольского или Кирсанова, — но все это добавило бы несколько достойных замечания второстепенных фигур, далеко не исчерпало бы всех счастливых обмолвок современной поэзии, стеснило бы имеющийся материал и сделало бы книгу похожей на те многочисленные антологии, где от каждого поэта берется несколько гладких,

---

*) А. Гитович

всем известных образцов, блистающих «хрестоматийным глянцем»*), но облика поэта не создающих. Лучше полно показать перворазрядных поэтов, чем недостаточно всех второстепенных.

Также нужно сказать, что хотя антология и стремится показывать не советскую поэзию, а поэтов, существовавших несмотря на советский строй, под которым они жили, — тем не менее, невозможно совсем обойтись без стихов, в которых есть советская проблематика или отражение частично советских воззрений написавшего: тогда пришлось бы отказаться от многих замечательных вещей. Поэтому включены «Дума про Опанаса» и другие стихи и поэмы, в которых, по мнению составителя, художественное качество и значительность высказанного перевешивают то, что нам теперь смешно или неприятно.

Количество биографического материала в кратких жизнеописаниях, предваряющих стихи каждого поэта, не соответствует значительности самого поэта, и определялось лишь наличием этого материала.

В том случае, когда дату написания стихотворения или поэмы нельзя с точностью установить, в скобках ставится дата выхода книги стихов, дата напечатания в журнале, дата стихотворного цикла или, наконец, предположительная дата написания.

## II

Речь А. Блока на пушкинской годовщине 1921 г. была завещанием последующим поколениям поэтов, и до сих пор ее путеводность очень остро чувствуется. Уже находясь в преддверии смерти, увидевший подлинное лицо революции и потерявший ощущение музыки, которую он слышал всю жизнь, Блок в последний раз в русской литературе нарисовал облик настоящего Пушкина — «не друга монархии или декаб-

*) Выражение В. Маяковского.

ристов», а поэта; определил пушкинскую чернь как «дельцов и пошляков», простирающих свои нечистые руки к поэзии и, выступая против разночинского толкования Пушкина, заявил, что «дело поэта вовсе не в том, чтобы достучаться непременно до всех олухов». Он сказал: «Пускай же остерегутся от худшей клички*) те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнить ее святое предназначение». В той же речи содержится ставшее всем известным место о «покое и воле», которые отнимаются у поэта, и о пушкинской «тайной свободе», без которой «нечем дышать» и творчество теряет смысл. Эти трагические размышления уравновешиваются в конце призывом поклясться «веселым именем Пушкина». В тот же день Блоком было написано стихотворение «В альбом Пушкинского Дома», где еще раз подчеркивается тема «тайной свободы». С этим завещанием Блок ушел из жизни.

***

Многим крупным дореволюционным поэтам суждено было пережить революцию. Одни эмигрировали, другие приняли «новый порядок». Нас сначала интересуют те из поэтов, целиком сложившихся и прославившихся до революции, которые, не изменяя себе, встретили переворот лицом к лицу и потом жили, иногда долгие годы, под чуждым режимом. Они открывают как бы пролог к послереволюционной поэзии.

Первое место среди них занимает Анна Ахматова, у которой в стихах этих лет появляются новые, торжественно-суровые ноты. Со смертью Блока и расстрелом Гумилева — поэтов, с которыми она была связана и творчески и лично, скипетр русской поэзии перешел к ней. Она осталась символом и понима-

*) чем «чернь». (В. М.)

ла это, почему и не покинула страну, хотя ясно представляла всю тяжесть предстоящих лет. Это понимали и другие поэты:

Где сподручники твои,
Те сподвижники?
Белорученька моя,
Чернокнижница!

Не загладить тех могил
Слезой, славою.
Один заживо ходил —
Как удавленный.

Другой к стеночке пошел
Искать прибыли.
(И гордец же был, сокòл!)
Разом выбили.

. . . . . . . . .

Знать, в два перышка тебе
Пишут тамотка.
Знать, уж в скорости тебе
Выйдет грамотка.

(Марина Цветаева — «Ремесло». Москва-Берлин, 1923).

Ее дальнейшая судьба всем известна. После долгих лет забвения, невзгод и потерь Ахматова из молчаливого символа отрицания советской литературы стала фактом не только этой литературы, но и литературной политики. У всех свежи в памяти кратковременное и внезапное «признание» ее, а потом ждановская расправа, после которой появились ее стихи, звучащие как речь обвиняемого на московском процессе (очень возможно, что она не писала этих стихов). Вот пример:*)

### ПОДЖИГАТЕЛЯМ

И чем грозите вы? Пожаром?
Уничтожением детей?
Но знайте: не пройдет вам даром
Яд клеветнических речей.
Одним порывом благородным
Фронт мира создан против вас,
И труженику стать свободным
Приходит долгожданный час.

В антологии Ахматова должна быть представлена,

*) «Огонёк» № 42, 15 окт. 1950 г.

конечно, во много раз полнее, но Издательство имени Чехова выпустило недавно книгу ее стихов, и поэтому мы ограничиваемся лишь несколькими стихотворениями, где особенно ясно отражается ее жизнь в послереволюционное время.

В противоположность Ахматовой, Волошин пережил большое (хотя и подготовленное) изменение творческого облика во время революции. Его стихи этих лет мало чем напоминают большинство прежних стихотворений ученика Вяч. Иванова и Эредиа, искателя красоты и мастера поэтической живописи. Эпитет «пророческий» последнее время применяют ко всему, кстати и некстати, но ни к чему он так не подходит, как к послереволюционному творчеству Волошина с его пафосом и размахом ветхозаветных пророков. Мало кто с такой силой и глубиной отразил русскую революцию. Большевики, как ни странно, не трогали Волошина. Может быть, ждали, что он как-нибудь, одним боком, тоже примет революцию, как это сделали перед ним Брюсов, Белый и Блок, тем более, что он не был врагом большевиков, а хотел примирить белых и красных пред лицом эсхатологических событий. Сейчас его стихи звучат страстным обличением, может быть, вопреки собственному желанию автора. Стихов Волошина после революции не печатали, и его самого считали «чуждым», но его дача в Коктебеле до самой смерти поэта была каким-то своеобразным литературным центром и оазисом. Он сам об этом писал:

И красный вождь и белый офицер —
Фанатики непримиримых вер —
Искали здесь, под кровлею поэта,
Убежища, защиты и совета.
Я ж сделал все, чтоб людям помешать
Себя губить, друг друга истреблять. *)

---

*) Приведено в очерке Д. Новоселова — В Коктебеле («Грани» № 5, 1949)

Его стихи послереволюционных лет были бы замечательным материалом для этой антологии, но где их достать?

В отличие от Ахматовой и Волошина, оставшихся в России, несмотря ни на что, по велению поэтического долга, — Сологуб страстно желал выехать заграницу. Его не пустили, и десятилетие, прожитое им там, полно безысходного отчаяния. Лучше всего можно себе представить его в эти годы по портрету Ю. Анненкова — небритым, с безжизненно уставленными вниз глазами, с мухой на лбу. Он считал, что находится в плену у обезьян, и ждал конца. В редкие моменты другая, более певучая, но не менее безнадежная струя прорывалась в нем, и тогда он писал стихи о Дон Кихоте. По словам Р. Иванова-Разумника*), Сологуб в то время много писал, но большинство из написанного им вряд ли теперь увидит свет. Кое-что, например, стихи «Вот подумай и пойми», ходили в списках; часть его стихотворений последних лет «выдал» автор предисловия к маленькому томику стихотворений Сологуба, каким-то чудом осуществленному перед войной. В 1927 г. Сологуб умер, озлобленный и задыхающийся.

***

Хотя личная судьба Мандельштама сложилась трагично, мы с трудом будем открывать в его творчестве следы этого. Он всегда смотрел на жизнь с каких-то ему одному доступных синайских высот. Предельная надпартийность звучит иногда в его строках:

Кому зима — полынь и горький дым к ночлегу,
Кому — крутая соль торжественных обид.

Мандельштам почти единственный из современных поэтов, кого можно назвать классиком. Хотя ассоциа-

---

*) Р. Иванов-Разумник — Писательские судьбы. Лит. Фонд — Нью-Йорк. 1951

тивная беспредметность слова приближает его к модернистским течениям, тем не менее, словесная лаконичность и насыщенность, торжественно-ясный ритм, гармоническое звучание стиха, наконец, его тяга к античным и ампирным мотивам — все это заставляет говорить о его классичности, и если классицизму суждено сыграть роль отправной точки в дальнейшем развитии русской поэзии (предположив, что таковая возникнет) — а что иное может сыграть такую роль? — то Мандельштам будет тем звеном разорванной цепи, за которое надо будет ухватиться. Если Батюшков делал из русского языка итальянский, то Мандельштам, несомненно, лучший из латинских поэтов, когда-либо писавших по-русски. В поздних стихах его — не только более сложная образность и даже какая-то зашифрованность; в них также впервые намечается трагическое личное отношение к эпохе; это уже не «шум времени», одинаково внятный Мандельштаму как в древней Трое, так и в Феодосии конца гражданской войны. Напечатать стихотворение «Век» было смелостью; и только близорукостью цензуры, воспитанной, очевидно, на «понятной» поэзии, можно объяснить, что оно попало на страницы советского журнала. Нужно еще отметить, что Мандельштам — единственный из поэтов советского времени, который не запятнал себя даже попыткой приспособления к большевизму; и это, конечно, не осталось без последствий (см. биографию). Его поэзия остается большим утешением посреди стихов других, не менее талантливых поэтов, которые, тем не менее, вечно стараются поучать или жаловаться, вечно мечутся и хотят перекричать, в то время как стихи Мандельштама спокойно возвышаются, как образец высокой красоты и правды.

Есть некоторые сходные черты с Мандельштамом в судьбе другого крупного поэта и другой жертвы советского произвола — Николая Клюева, о гибели которого после скитания по лагерям и тюрьмам подроб-

но рассказал его друг Иванов-Разумник в книжке «Писательские судьбы» (см. выше). Как утверждают, Клюев много писал в 20-е и 30-е г.г., но его не печатали, и в журналы попадали лишь немногие неуклюжие попытки приспособления. Его ранние сборники полны аромата северных лесов и местами по-народному вычурны, как узоры на полотенцах. В гладких и напевных стихах звучит то пушкинская, то блоковская мелодия. Клюев — величайший в русской поэзии мастер орнамента, который в более поздних вещах уже начинает перегружать стиховую ткань. Многочисленные произведения революционных лет полны полемики и мудреной, изощренной символики; в них также появляется елейность тона, от которой он был раньше свободен. Тем не менее, в редких стихах этого периода Клюев поднимается до подлинного трагизма. Если его ненапечатанные стихи предсмертных десятилетий не увидят света, это будет большой потерей для русской поэзии. Пока же его ранние вещи из сборников «Сосен перезвон» и «Лесные были» остаются лучшей частью его творчества.



Условно на Клюеве можно было бы кончить старшее поколение поэтов, т. к. после него уже идут поэты, конфликт которых с большевизмом шел не только в личном, но и в более углубленном, творческом плане; это период творческих трагедий тех, кто целиком или частично принял революцию или большевизм. Среди них одно из первых мест занимает младший соратник Клюева, Сергей Есенни, о судьбе которого вряд ли надо напоминать, т. к. он чрезвычайно популярен и как его стихи, так и биография хорошо известны широкому читателю. В дореволюционных стихах Есенин близок к Клюеву, только он нежнее и его деревня выглядит более стилизованной, как это ни странно (может быть, потому что клюевский орнамент естественен в его северных стихах,

тогда как для есенинской деревни средней полосы он не столь типичен). Главное же его отличие от рассудочного Клюева — почти обнаженная сильная эмоция, которая и создала ему так много почитателей. Революцию Есенин встретил кощунственно-многословными имажинистскими поэмами, которые так же мало прибавляют к его славе, как «Красный зык» к клюевской, и в конечном счете являются просто модной ерундой. Но почти в то же время, с нарастанием ощущения трагичности, у Есенина начинает нарастать та пронзительность, которой полны его лучшие стихи и которая так привлекает к нему даже его противников. Правда, в своей скорби о гибели деревни, какою он ее представлял, Есенин пассивен, и сама эта скорбь слегка монотонна, но ее искренность неподдельна. Не меньшую роль, чем крушение придуманной им крестьянской Руси, сыграло его неумение справиться с собственной славой, которая возросла особенно в последние годы его жизни, когда Есенин-«отрок» превратился в Есенина-«хулигана» и стал греметь уже больше как личность, а в стихах делать ставку на читателя, стоящего вне поэзии. Есенин — наиболее читаемый из современных поэтов; его ценят за любовь к родному краю, за душевность его меланхолической и удалой музы. Самоубийство Есенина произошло до расправы над крестьянской поэзией, и, надо полагать, будь он в живых, его ждала бы судьба Клюева, Клычкова, Орешина и Павла Васильева — т. е. ссылка и, возможно, смерть. В современном зарубежьи, к сожалению, начинает устанавливаться иконописное отношение к Есенину, хотя уже своевременно отнестись более критично к некоторым сторонам его творчества. Он достаточно крупный поэт, чтобы выдержать это.

Из Хлебникова, одного из самых значительных поэтов XX века, трудно выбирать. Его творчество больше похоже на мастерскую или лабораторию, чем на магазин готовых вещей. Большинство его стихов

с точки зрения потребительской неокончено и неотделано. Он и не стремился к законченности. Маяковский вспоминает в своей статье, что Хлебников часто, сдавая в печать стихи, «прибавлял: Если что не так, переделайте. Читая, обрывал: Ну, и так далее»*). В его мистике вещей и слов много сложного и трудного, может быть, и вообще непригодного для чтения — у Хлебникова нет чувства границ поэзии. Но вряд ли кого в современной поэзии можно сравнить с ним по горизонтам, им открываемым. Плоды его трудов говорят сами за себя. Почти ни один из последующих замечательных поэтов не избежал его большого и плодотворного влияния. Достаточно упомянуть имена Маяковского, Пастернака, Тихонова, Сельвинского и Заболоцкого, — если говорить только о самых крупных. К несчастью для Хлебникова, он стал легендой футуристов, которые на него в целом имели так же мало права, как и на Маяковского. Хлебников — и иной (он понимал заумь иначе, например), — и шире, чем его изображают иногда. Его поздние вещи, в большинстве, и понятны, и закончены, и нефутуристичны. Примером может служить хотя бы его поэма «Ночной обыск», лучшая после «Двенадцати» Блока поэма о революции, которая не перепечатывается уже давно и которую русская молодежь тайком читает, собираясь на вечеринках. Хлебников жил и умер поэтическим подвижником и мучеником. Утверждают, что перед смертью он пришел к разочарованию в революции. Следы этого ясно видны в бесшабашном отчаяньи его «Иранской песни». Жизнь Хлебникова — по справедливым словам Маяковского — «пример поэтам и укор поэтическим дельцам»**) (перекличка с речью Блока). Сейчас в СССР борьба с наследием Хлебникова идет полным ходом, и он на-

---

*) В. Маяковский — «В. В. Хлебников» (Сочинения в одном томе. М. 1941)

**) Та же статья.

чисто отрицается современными «поэтическими дельцами». У него находят субъективный идеализм, реакционное славянофильство, анархический индивидуализм, «разрушение красоты», формализм и даже прямые выпады против Маркса — чего живому поэту хватило бы на очень много лет Нарымского края. Но при нормальном развитии литературы его творчество долго оставалось бы неисчерпаемым кладезем русской поэзии.

Конечно, будет по меньшей мере странным относить Маяковского к жертвам советской власти, но из списка поэтов-мучеников нашего времени его трудно выбросить. К сожалению, его посмертная «канонизация» заслонила для многих его трагически сложный творческий путь. Многих отталкивают его политические взгляды, его безоговорочное приятие советского строя и его посильная помощь этому строю. Но вряд ли кто может заподозрить Маяковского в приспособлении и неискренности, и упреки ему в лакействе со стороны некоторых критиков неуместны и несправедливы. Тогда можно будет называть лакеем и Державина. Маяковский, как большинство поэтов, ненавидел мещанство и его быт (вариант пушкинской черни), но наивно считал, что революция сметет этот уклад. Он принял поэтому революцию целиком и без раздумий; а потом, после наступления неизбежного разочарования, дорога назад была для него закрыта. Ему, в отличие от частично принявших революцию, идти тогда было некуда, других позиций не было. Прошлого для него не было, а его будущее было слишком неосуществимым — и оставалось лишь «становиться на горло собственной песне»*). После напечатания последней из своих замечательных любовных поэм «Про это» (с ее темой воскрешения мертвых и гудящим мотивом самоубийства и искупления), Маяковскому пришлось убеждать себя (а не других),

---

*) В. Маяковский — Во весь голос

что все «хорошо!», когда же убедить не удалось, он заплатил «непоправимой гибелью последней»*). Перед смертью он писал поэму «Плохо», черновики которой не опубликованы до сих пор и, очевидно, были в свое время конфискованы НКВД. Было бы смешно оправдывать идеалы Маяковского и защищать его многочисленные поэтические срывы, но отрицать, что он ушел из жизни с честью и достоинством, граничило бы с лицемерием. Вряд ли многие из любителей поэзии, жившие в СССР, — даже те, кому Маяковский в его творческом плане чужд и неприемлем, — станут оспаривать его поэтическое значение и сомневаться в трудностях его пути — его трагедия всем понятна, да и не так уж трудно проследить ее текстуально, если внимательно читать его стихи (а лучше всего прочесть «О поколении, растратившем своих поэтов» Р. Якобсона, к чрезвычайно убедительному материалу которой трудно что-либо прибавить). Конечно, самоудушение сделало свое дело, и из ворохов его газетных стихов почти невозможно что-либо выбрать (подчас, как в «Мелкой философии на глубоких местах», поэзия прорывается из фельетона), но его любовные стихи и поэмы звучат до сих пор сильно; можно даже сказать, что такого напряжения и страстности любовной лирики, не прекращавшихся в течение всего творческого пути, не было в русской поэзии. Конечно, рядом с символистами и Есенин и Маяковский ощущаются как варвары, вломившиеся на Парнас — в них нет былого поэтического аристократизма; но, кто знает, может быть, это было не так уж и плохо для поэзии в свое время. Во всяком случае, талант обоих можно отрицать только при большой глухоте к поэзии; Маяковский же, кроме того, обогатил поэзию новыми средствами, и после него уже нельзя писать по-эпигонски. Конфликт Маяковского с окружающим был неизбежен, т. к. он был

*) Н. Гумилев

прежде всего индивидуалистом, и это другое лицо уже пора вспомнить. Не Маяковский-агитатор, прославляющий советское государство, а Маяковский-мечтатель, нежный и беспомощный любовник-ребенок, космический бунтарь, трагический борец с бытом, иррационалист и почти мистик — это большой русский поэт, и отказываться от него было бы самообкрадыванием.

И Маяковский, и Есенин были больше поэтическими личностями, чем художниками. Личная легенда романтического порядка в их творчестве преобладала. Кроме того, в самом творчестве оба они (в разной мере, конечно) давали большие козыри большевикам. Рядом с ними фигура Пастернака выделяется как символ бессознательного сопротивления. Пастернака упорно и неотступно травили в течение почти всего его творческого пути, хотя он лично и не выступал против советской политики и даже часто, без задней мысли о приспособлении, старался стать «новым человеком». Но из этого ничего не вышло, т. к. он, как и Мандельштам, органически неспособен обманывать себя самого и притворяться в стихах. Послевоенный въезд Жданова на белом коне в литературу задел и Пастернака, на него опять была спущена свора из наиболее бездарных поэтов и критиков. Они упрекали поэта в том, что его «признает заграничный выродившийся хлам»*), называли его «свиньей под дубом в нашей поэзии»*) и, не ощущая юмора, заявляли: «это Пастернаку надо бы учиться у нас поэтическому видению мира»*). Нужно заметить, что сам Пастернак прекрасно вел себя при всех подобных обстоятельствах. Он защищал в свое время опального Павла Васильева, публично заявлял о несогласии, даже если это было несогласие с резолюцией ЦК, и однажды даже высказал мысль, что «мы переживаем

---

*) О советской поэзии (дискуссия), «Звезда» № 3, 1949.

не культурную революцию, а культурную реакцию»*). Влияние Пастернака на советскую поэзию было, пожалуй, после хлебниковского самым сильным. Если Хлебников указал на неисчерпаемые возможности слова, то Пастернак дал совершенно новое и свежее видение мира — не мира идей, революций и партий, к которым, к сожалению, проявляли неумеренный интерес другие крупные поэты — а мира под рукой, непосредственно окружающего. Каким-то чудесным образом совмещая огромную культуру и незаурядный интеллект с неподдельной страстностью, он бродил с увеличительным стеклом по комнате и делал открытия. От его ранних вещей веет такой непосредственностью, что начинаешь видеть мир, каким видел его лишь в детстве. В более поздних стихах он пришел к бо́льшей скупости средств, к своеобразной простоте, но в них уже нет одуряющей свежести сборника «Сестра моя жизнь». Последние двадцать лет Пастернак почти ничего не печатал из стихов, уйдя в переводы — род внутренней эмиграции. Среди переведенных им пьес есть «Принц Гомбургский» Генриха Клейста, и это неслучайно: среди советских поэтов Пастернак выглядит принцем Гомбургским на военном совете первого акта — белой вороной, лунатиком посреди автоматов, точно подчиняющихся приказам о том, куда марширует первая колонна и куда вторая.

Багрицкий начал с огромного количества третьесортных упражнений в акмеизме, но впоследствии стал одним из замечательных явлений современной поэзии. Его первый сборник «Юго-запад», несмотря на книжные мотивы, полон неподдельного юношеского романтизма, шума леса и моря. У него есть настоящая земная сила, почти физического порядка, захлестывающая и опрокидывающая, несмотря на некото-

---

*) «Звезда», № 10, 1947 (упомянуто Л Плоткиным в статье «А. А. Жданов и вопросы литературы»)

рую страсть к эффекту. В «Думе про Опанаса» Багрицкому чуть ли не единственному удалось создать полновесную эпопею на материале гражданской войны. В последних сборниках — «Победители» и «Последняя ночь» — происходит сильная «советизация», и это в значительной степени снижает их ценность. Поэтическая ткань усложняется по сравнению с «Юго-западом», но одновременно усиливаются и натуралистические элементы, свойственные Багрицкому. Подчас выделяются даже чекистские мотивы («ТБЦ», «Февраль») — наиболее темное пятно на его поэтической совести. Кроме того, одна из главных тем современной поэзии — тема борьбы поэта с окружающим мещанским бытом, интересно и глубоко разработанная Маяковским, Заболоцким и отчасти Тихоновым, у Багрицкого плоско разрешена как тема «борьбы со старым миром». Но рядом с этим звучат и старые мотивы бродяжничества, неприкаянности (звучащей сильно в «Думе про Опанаса») и человеческой затерянности в мире «строящегося социализма». Это — свидетельство подготовлявшегося кризиса, от которого спасла Багрицкого лишь ранняя смерть от астмы. Что это не голословное предположение, говорит посмертная судьба наследия поэта, которое в 1948 г. подвергли сильной критике; сам же Багрицкий был обвинен в низкопоклонстве перед западом, декадентстве и политических ошибках. Коммунизм Багрицкого — без сомнения искренний с его стороны — проявлялся, по существу, лишь в романтике гражданской войны и ненависти к собственничеству. Некоторые, особенно свежие из его стихов, могут остаться в русской поэзии, тогда как вещи, подобные «Смерти пионерки», не будут интересовать даже ученых.



Тихонов открывает собою очень короткую галерею крупных послереволюционных поэтов, сумевших приспособиться. Его ранние (и лучшие) сборни-

ки «Орда» и «Брага» — это поэзия войны и мужества, в какой-то степени продолжающая линию раннего Гумилева, только Тихонов сдержаннее и предпочитает Африке джеклондоновский север. Советского в них нет ничего, кроме разве романтики гражданской войны в некоторых стихах «Браги». Потом Тихонов устремляется в искания, проходит через влияние Пастернака и Хлебникова, производит на свет много того, что теперь называют «формализмом», но в конце концов медленно начинает сочетать свой пафос приключения с «пафосом построения социализма на национальных окраинах Советского Союза», и — хотя продолжает писать мастерски, — снижает первоначальный уровень своей поэзии. Правда, временами ему удается создать даже совсем хорошие циклы («Чудесная тревога», «Горы»), но всё сознательно уравновешивается (или маскируется) откровенной дребеденью в необходимом духе. Временами задаешь себе вопрос: каким образом Тихонов, со стальным героизмом его стихов, согнулся и пошел в прихлебатели, в то время как тонкий, высокий, не от мира сего Мандельштам не сдался и умер героем. В чем тут дело? Может быть, в том, что Тихонов хотел много знать о земле и не хотел знать о небе (открывающее «Орду» стихотворение «Праздничный, веселый, бесноватый»), а такие вещи поэту не прощаются. Как бы то ни было, прирученный искатель приключений достиг больших постов и орденов и кончил полной благонадежностью. (Справедливость требует отметить, что Тихонов хорошо относился к своим собратьям по перу и, где мог, помогал попавшим в беду и защищал их). Только в СССР может случиться, что молодой поэт Корнилов, полный комсомольских идеалов, с безошибочным «классовым чутьем», погиб в ссылке, а Тихонов, виновный во всех «смертных грехах» (стоит лишь перелистать его старые сборники), одно время был даже главой советских писателей. Может быть, весь этот балласт à la «Киров с нами» нужен лишь для

камуфляжа стихов «Чудесной тревоги», но даже допуская это, нельзя простить стихи о Пушкине *) со строчками:

Чтобы в ссылках и гоненьях
Восходил он как заря,
Чтоб в глуши
великий Ленин
Стих твой гордый повторял,

Чтобы сам великий Сталин
В год, что шел как страшный вал,
Среди тех, кто к бою встали,
Имя Пушкина назвал.

Впрочем, простота многих его стихов — ложная, и стоит остановиться на них, как открываешь чуть ли не запретный мистицизм. Пастернак более доходчив, чем Тихонов в некоторых стихах — однако Пастернаку не прощают того, что легко проходит Тихонову под личиной внешней простоты.

Сельвинский приспособлялся изо всех сил и в последние годы так старательно заглаживал старые прегрешения, что, повидимому, вытравил окончательно ту небольшую долю поэзии, какой раньше обладал. Его послевоенное «ретроспективное» собрание стихов можно просто не раскрывать. Но если бросить подлинно ретроспективный взгляд на его путь, то нельзя удержаться от жалости при виде того, что поэт, который хотел быть современным (и был им), хотел быть советским — должен был изворачиваться почти все время и, тем не менее, до сих пор на плохом счету. Сельвинский не из подлинных поэтов с неповторимым лицом и нутром, но он интересный делатель. В свое время, правда, он высоко котировался, что видно хотя бы из строк Багрицкого:

А в походной сумке —
Спички и табак, —
Тихонов,
Сельвинский,
Пастернак...

Сельвинский внутренне чувствовал свой недоста-

*) «Новый мир» № 6, 1949.

ток и с удовольствием боролся с лиризмом — или уходя в штукарство:

Ать-два-три-четыре,
Ать-ДУДУНН!!!-три-четыре,
ДЗЯУ...-два-БАХ!-четыре,
ДЗИЙ-У!-ДЗАНГ!-четыре,
Ать-два-три-четыре,
Ать-два-три-четыре.

(«Сивашская битва»)

или в откровенную прозу:

Здесь вольфрамовый ангидрид,
Этот металл в порошке,
Медленно под водородом горит
В совочке или рожке.
Его промололи. Теперь его мнут,
Муку спекая в печенье.
Покуда ж он парится (10 минут),
Маленькое отступленье...

(«Как делается лампочка»)

Когда же он пробует взяться за то, что в советской поэзии носит название «лирического жанра» и что лучше назвать сентиментом («Песец»), то становится слегка пошловатым. Лучшая из крупных вещей Сельвинского — «Улялаевщина», — сочная повествовательная поэма, словарно богатая и местами интересная технически, хотя и излишне натуралистичная и растянутая. Но зато Сельвинский показывает себя несомненным мастером в некоторых экспериментах, в имитациях казацкой песни или цыганского романса (правда, это путь в поэтический тупик) или в его прекрасных детских стихах и стихах о детях. Стихи Сельвинского военного и послевоенного времени — не только прозаический репортаж или жалкие потуги на инвективу в стиле «Клеветникам России» — это также свидетельство его полной поэтической гибели.

Он, как многие советские поэты, разучился выражать индивидуальные ощущения. Неразвитость души заставляет даже его неподдельный патриотизм военных лет звучать неискренне. Вспоминаются слова Маяковского:

Приходит
страшнейшая из амортизаций —
амортизация
сердца и души.



Все перечисленные поэты сформировались или до революции или в огне противоречий революции и гражданской войны. Их «уклоны» были объяснимы. На поколение, выступившее уже в «мирное время», возглагались большие надежды; но на двух примерах самых талантливых поэтов этого поколения мы видим, что и оно вступило в неизбежный конфликт с властью и было уничтожено — творчески или физически.

Павел Васильев быстро стал самым «подающим надежды» из так называемой крестьянской группы. Он многословен, но в нем было что-то, чего не было у Клюева и Есенина — отсутствие вычурности и претенциозности. Его даже можно назвать более настоящим крестьянским поэтом. У него был подлинный лирический напор, хотя глубины большой в нем не замечалось. Весь его «идейный запас» ограничивался неприятием городского быта и ненавистью к западу (как это было бы к месту сейчас!). Наиболее сильные его инвективы направлены против «патефонного сброда» городских вечеринок. Васильев тоже «принимал» советскую действительность, отталкиваясь от мещанской затхлости родной станичной среды (он из сибирских казаков). Но советская критика быстро заметила, что на изображение последнего Васильев находит краски, первое же подается бледно и неинте-

ресно. Его объявили «кулацким поэтом» и потребовали «перековки», обвиняя в «восхищении сытой (?!) деревней»*). Один критик писал: «Почему на шестнадцатом году революции, после ликвидации кулачества, появляется такой поэт? Значит, не вся еще молодежь наша?»*). На специальной дискуссии в 1934 г., посвященной творчеству Васильева, поэту было заявлено: «Выбирай — с революцией или нет».*) Васильев выбрал первое. Он стал переделываться, написал стихотворение «Горожанка», где извинился за свою прежнюю кустодиевски сочную «Наталью». Его стих остался многословным, но стал вялым и неинтересным. Внутренняя борьба иногда прорывается в отдельных строчках уже «благополучных» стихов этого периода:

Я стою пред миром новым, руки
Опустив, страстей своих палач...
(«Клятва на чаше»)

или

О, я хочу к началу возвратиться,
Вновь неумело песни написать...
(«В защиту пастуха-поэта»)

Стихи 1936 г. уже совсем плохи. Васильев пишет о полете Чкалова (не забывая упомянуть «отцовскую улыбку» Сталина), о гражданской войне в Испании, клеймит троцкистов. Говорят, что в это время он запил и, по традиционному рецепту крестьянских поэтов, стал хулиганить. После 1936 г. его стихи исчезают со страниц советских журналов, т. к. в этом году он был арестован и пропал.

Н. Заболоцкий появился в поэзии в 1929 г. своим сборником «Столбцы». Когда читаешь эту книгу впервые, то, после некоторого шока, ощущаешь неиспытанный доселе вид восхищения. Это нечто совсем необычное, хотя и полно вещей тебе известных и понят-

---

*) «Новый мир» № 6, 1934.

ных: это одно из поэтических открытий мира, который вокруг нас, но которого мы не замечаем. В отличие от П. Васильева, Заболоцкий дает панораму советского города, иногда языком среднего горожанина. Поэтические средства эксцентричны и почти пародийны, преобладают краски лубочной живописи, стих подчас звучит намеренной подделкой под стих графомана. Временами, читая Заболоцкого, вспоминаешь живопись француза Анри Руссо. В стиле неожиданно открываешь гротесково задуманную смесь Пушкина, Державина, Зощенко и Хлебникова: мир зощенковского мещанина подается через иронию искаженных строк и ритмов Пушкина, с державинской сочностью и хлебниковскими неожиданными ракурсами и ритмическими перебоями. Эта книга — первая в русской поэзии сатира на «массового человека». В ней также есть наконец найденная связь поэзии с реальностью, естественная для нашего века. Зарубежная критика не оценила, к сожалению, Заболоцкого, найдя в нем лишь «левое озорство», что, впрочем, понятно: его нельзя «понять» ни с символистской, ни с акмеистской позиции, здесь нужно всерьез отнестись к некоторым аспектам и последствиям футуризма, которые редко принимаются во внимание, но без которых нельзя ни оценить, ни понять иногда самого главного и лучшего в современной поэзии. Интересно отметить, что Г. Иванов, шедший от Блока и Гумилева, в последних стихах приближается к нонсенсу и гротеску, очень похожему на Заболоцкого — т. о. это естественный ход событий. Сборник «Столбцы» был очень быстро «изъят из обращения» (сам Заболоцкий был в ссылке, но невозможно сейчас выяснить, когда и где), а для поэта настал длительный период «переделки». Плоды этого периода — два сборника, уже более слабые. В первом из них («Вторая книга стихов») Заболоцкий пробует еще дать выход своей индивидуальности в наукообразной тематике, местами в нем прорывается большая внутренняя тоска («Лодейников»). Послед-

няя книга (Стихотворения. 1948.) полна красивых (от слова «красивость») и гладких стихов; подлинный, неповторимый талант в ней придушен окончательно. Несмотря на это, советская критика всё еще недружелюбна к Заболоцкому и подозрительна. Его упрекают в том, что он пишет «о мирозданьях и прочей символике», находят у него «иконописное мастерство» и преступную «жалость к природе».*) Последнее время Заболоцкий пробует обычную для советских поэтов форму ухода от действительности — перевод (он переводит «Слово о полку», грузинских поэтов и др.).

***

Перевод стал прибежищем многих поэтов, т. к. он давал возможность уйти от социального заказа в мир великой поэзии прошлого, не подвергаясь в то же время порицанию, т. к. это пока согласуется с тезисом большевиков о том, что коммунизм является наследником «всех богатств, которые выработало человечество». Поэтому за перевод можно даже получить сталинскую премию. Но высокому качеству современного русского художественного перевода способствовало еще, главным образом, и то, что его принципы в самом начале революции были тщательно разработаны и установлены Блоком, Гумилевым и др. После этого перевод перестал быть случайным фактом литературы и находится теперь на уровне, какого он вряд ли достигает в иных странах.

Крупнейший современный переводчик — М. Л. Лозинский, в прошлом поэт-акмеист, — полиглот, переводивший очень многих иностранных поэтов и недавно, наконец, закончивший труд жизни — перевод «Божественной комедии» Данте. После войны появилось также полное издание сонетов Шекспира в переводе С. Я. Маршака, до того известного своими довольно «ортодоксальными» детскими стихами. Маршак

---

*) О сов. поэзии. «Звезда», № 3, 1949.

также неплохо переводил Бернса. Явным уходом, в связи с невозможностью продолжать оригинальное творчество, является переводческая деятельность Пастернака, переводы которого иногда слишком индивидуальны, но всегда интересны. Он переводил Клейста, Рильке, Ганса Сакса, Верлена, Гёте, Китса и др. Его переводы трагедий Шекспира — лучшие в современной литературе.

## III

Такова русская поэзия советского периода. Вывод напрашивается сам собой: настоящих поэтов было немало, и поэзия была. Этот интересный и незаурядный период (далеко не беднейший в истории русской поэзии) начался перед самой революцией и был закончен, вследствие давления свыше, в начале 30-х г.г. С тех пор, вот уже двадцать лет, как в русской поэзии на территории советского государства ничего значительного не появлялось.

Достаточно одного взгляда, чтобы понять, почему этот период невозможно назвать «советским». Под определение настоящего советского поэта не подходят даже Маяковский и Багрицкий. Маяковского до сих пор спасает лишь случайно брошенная Сталиным фраза; оснований же думать, что Сталину действительно нравится Маяковский, нет никаких, а частью студенчества это посмертное признание было воспринято как похищение любимого поэта. Таким образом, это поэзия «несмотря на советское время», а не «советская» поэзия. Она героически погибла, стараясь, как могла, развить то, что принес поэтический переворот, начатый символистами и законченный футуристами. Составитель надеется, что такой вывод естественно возникает даже после знакомства с его субъективным и неполным выбором. Если русской поэзии суждено снова возродиться, то трудно предсказать, каким путем она пойдет. Крупнейшими поэ-

тами закончившейся эпохи можно считать Мандельштама, Пастернака и Маяковского. Последний был больше поэтической личностью, чем творцом ценностей, к тому же многое в его поэтической практике сейчас абсолютно чуждо и надо считаться с некоторым отталкиванием от него в будущем. Два первых, хотя оба они — первоклассные художники, тоже не совсем ясно указывают путь и не открывают традиции. Мандельштаму вообще нельзя подражать, он — достижение; с Пастернаком легче, ибо он не столько достижение, сколько открытие (как и Заболоцкий, который, к сожалению, не успел развернуться). Поэтому у Пастернака и было такое большое влияние на современных поэтов. Но от влияния еще далеко до начала большой литературной традиции. Таким образом, трудно сказать, куда бы развивалась поэзия в случае возможности этого развития. Но это не праздные мысли. Они естественно возникают у всех, кто живет поэзией. Можно с некоторой долей ясности представить себе битву между отдельными индивидуальными традициями: в массовом плане — между наследием Есенина и Маяковского, на более высоком уровне — Пастернака и Гумилева. Всё это, может быть, и не приведет к желаемому, но естественное развитие этих линий было оборвано, и влияниями перечисленных поэтов, возможно, еще придется переболеть до конца. Скорее всего новая поэзия сможет пойти дорогой Пастернака, т. е. продолжая открывать мир вокруг себя, параллельно же открывая возможности слова (в этом смысле всё еще не пережита футуристическая традиция). Будущим поэтам надо будет только прибавить к достижениям Пастернака новую концепцию морали, новую религиозность и поиски высокого оптимизма, лучший источник которого нужно искать уже не в недавнем прошлом (пусть до конца не усвоенном), а где-то в начале XIX века. Новый классицизм необходим сейчас, как никогда.

**В. Марков**

*А. БЛОК*

*Имя Пушкинского Дома*
*В Академии Наук!*
*Звук понятный и знакомый,*
*Не пустой для сердца звук!*

*Это — звоны ледохода*
*На торжественной реке,*
*Перекличка парохода*
*С пароходом вдалеке.*

*Это — древний Сфинкс, глядящий*
*Вслед медлительной волне,*
*Всадник бронзовый, летящий*
*На недвижном скакуне.*

*Наши страстные печали*
*Над таинственной Невой,*
*Как мы черный день встречали*
*Белой ночью огневой.*

*Что за пламенные дали*
*Открывала нам река!*
*Но не эти дни мы звали,*
*А грядущие века.*

*Пропуская дней гнетущих*
*Кратковременный обман,*
*Прозревали дней грядущих*
*Сине-розовый туман.*

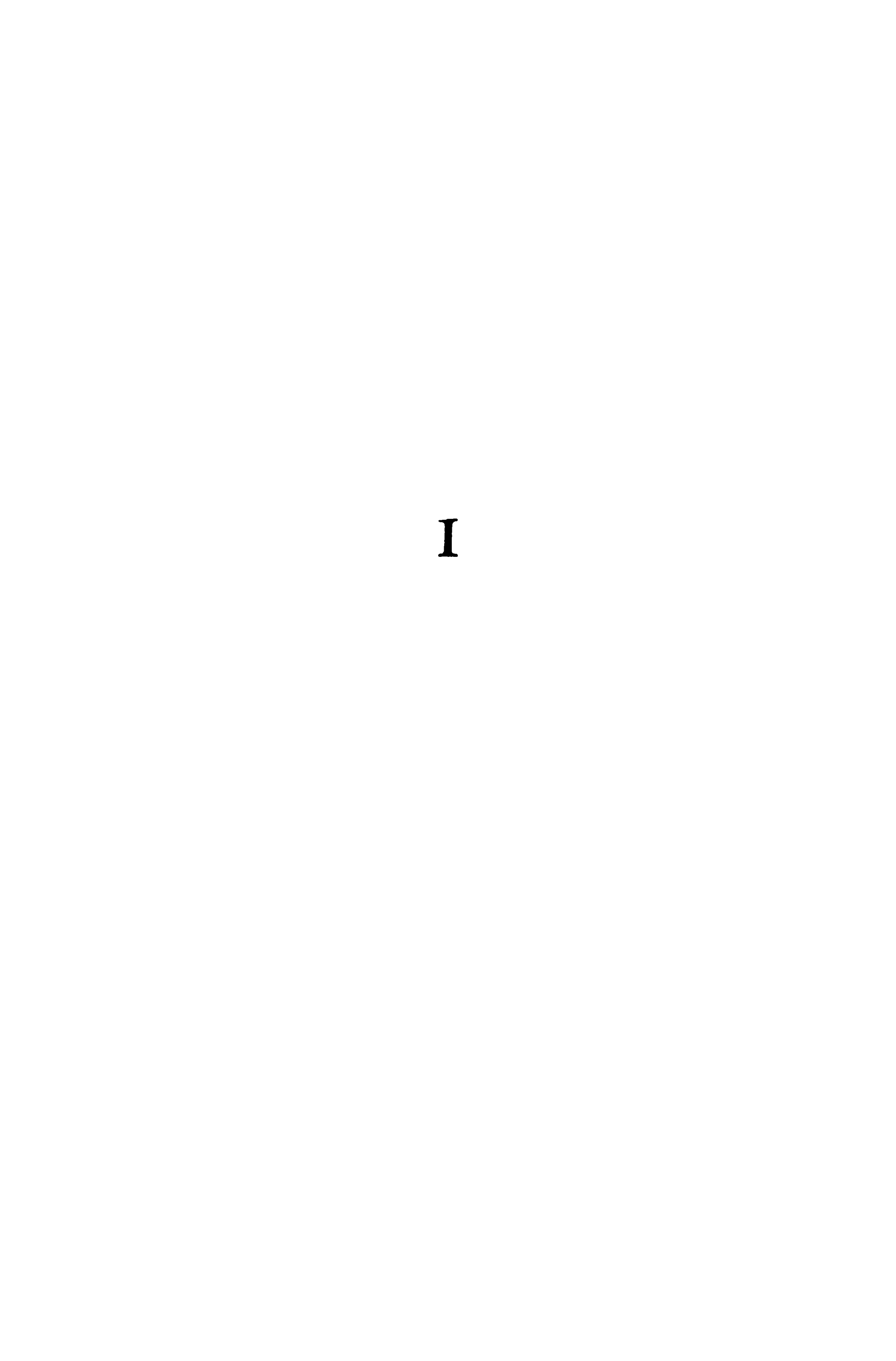
*Пушкин! Тайную свободу*
*Пели мы вослед тебе!*
*Дай нам руку в непогоду,*
*Помоги в немой борьбе!*

*Не твоих ли звуков сладость*
*Вдохновляла в те года?*
*Не твоя ли, Пушкин, радость*
*Окрыляла нас тогда?*

*Вот зачем такой знакомый*
*И родной для сердца звук —*
*Имя Пушкинского Дома*
*В Академии Наук.*

*Вот зачем, в часы заката*
*Уходя в ночную тьму,*
*С белой площади Сената*
*Тихо кланяюсь ему.*

*11 февраля 1921 г.*


I

# Анна Андреевна АХМАТОВА

## (Настоящая фамилия — Горенко)

Родилась в 1889 г. в Киеве. В 1910 г. примыкает к акмеистам и начинает печататься. В 1911 г. выходит замуж за поэта Н. Гумилева. Книги стихов: «Вечер» (1912), «Четки» (1914), «Белая стая» (1917), «Подорожник» (1921), «Anno Domini» (1922). После развода с Гумилевым вышла замуж за ассириолога Шилейко. После революции живет в Ленинграде. До 1940 г. не печаталась; потом появился однотомник «Из шести книг», быстро изъятый. В 1946 г. подверглась резкой атаке со стороны Жданова за «космополитизм, пессимизм, чуждую тематику и эстетизм».

Теперь никто не станет слушать песен,
Предсказанные наступили дни.
Моя последняя, мир больше не чудесен,
Не разрывай мне сердца, не звени.

Еще недавно ласточкой свободной
Свершала ты свой утренний полет,
А ныне станешь нищенкой голодной,
Не достучишься у чужих ворот.

*1917*

Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал,
И дух суровый византийства
От русской Церкви отлетал,
Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.

Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

*1917*

Чем хуже этот век предшествующих? Разве
Тем, что в чаду печали и тревог
Он к самой черной прикоснулся язве,
Но исцелить ее не мог.

Еще на западе земное солнце светит,
И кровли городов в его лучах блестят,
А здесь уж белая дома крестами метит
И кличет воронов, и вороны летят.

*1919*

---

Не бывать тебе в живых,
Со снегу не встать,
Двадцать восемь штыковых,
Огнестрельных пять.

Горькую обновушку
Другу шила я.
Любит, любит кровушку
Русская земля.

*(1921)*

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.

Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.

А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.

И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час;
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

*(1922)*

Я с тобой, мой ангел, не лукавил,
Как же вышло, что тебя оставил
За себя заложницей в неволе
Всей земной непоправимой боли?
Под мостами полыньи дымятся,
Над кострами искры золотятся,
Грузный ветер окаянно воет,
И шальная пуля за Невою
Ищет сердце бедное твое.
И одна в дому оледенелом,
Белая лежишь в сияньи белом,
Славя имя горькое мое.

*(1922)*

---

Земной отрадой сердца не томи,
Не пристращайся ни к жене, ни к дому,
У своего ребенка хлеб возьми,
Чтобы отдать его чужому.
И будь слугой смиреннейшим того,
Кто был твоим кромешным супостатом,
И назови лесного зверя братом,
И не проси у Бога ничего.

*(1922)*

## КЛЕВЕТА

И всюду клевета сопутствовала мне.
Ее ползучий шаг я слышала во сне
И в мертвом городе под беспощадным небом,
Скитаясь наугад за кровом и за хлебом.
И отблески ее горят во всех глазах,
То как предательство, то как невинный страх.
Я не боюсь ее. На каждый вызов новый
Есть у меня ответ достойный и суровый.
Но неизбежный день уже предвижу я, —
На утренней заре придут ко мне друзья,
И мой сладчайший сон рыданьем потревожат
И образок на грудь остывшую положат.
Никем не знаема тогда она войдет.
В моей крови ее неутоленный рот
Считать не устает небывшие обиды,
Вплетая голос свой в моленья панихиды.
И станет внятен всем ее постыдный бред,
Чтоб на соседа глаз не мог поднять сосед,
Чтоб в страшной пустоте мое осталось тело,
Чтобы в последний раз душа моя горела
Земным бессилием, летя в рассветной мгле,
И дикой жалостью к оставленной земле.

*(1940)*

## МУЗА

Когда я ночью жду ее прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Что почести, что юность, что свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.
И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я!»

*(1940)*

Когда человек умирает,
Изменяются его портреты.
По-другому глаза глядят, и губы
Улыбаются другой улыбкой.
Я заметила это, вернувшись
С похорон одного поэта.
И с тех пор проверяла часто,
И моя догадка подтвердилась.

*(1940)*

Тот город, мной любимый с детства,
В его декабрьской тишине
Моим промотанным наследством
Сегодня показался мне.

Всё, что само давалось в руки,
Что было так легко отдать:
Душевный жар, молений звуки
И первой песни благодать —

Всё унеслось прозрачным дымом,
Истлело в глубине зеркал...
И вот уж о невозвратимом
Скрипач безносый заиграл.

Но с любопытством иностранки,
Плененной каждой новизной,
Глядела я, как мчатся санки,
И слушала язык родной.

И дикой свежестью и силой
Мне счастье веяло в лицо,
Как будто друг от века милый
Всходил со мною на крыльцо.

*(1940)*

Знаешь сам, что не стану славить
Нашей встречи горчайший день.
Что тебе на память оставить?
Тень мою? (На что тебе тень?)
Посвященье сожженной драмы,
От которой и пепла нет?
Или вышедший вдруг из рамы
Новогодний, страшный портрет?
Или слышимый еле-еле
Звон березовых угольков?
Или то, что мне не успели
Досказать про чужую любовь?

*(1946)*

# Максимилиан Александрович
# ВОЛОШИН

Родился в 1877 г. в Киеве. Путешествовал по Средней Азии и Средиземному морю. Жил в Париже, где учился живописи. С 1906 по 1910 принадлежал к «Башне» Вячеслава Иванова. 1910 — «Стихотворения». Переводил Д'Оревильи, Ренье, Клоделя и Верхарна. Во время и после революции жил безвыездно в Крыму, в Коктебеле (недалеко от Феодосии). После революции вышли книги стихов «Демоны глухонемые» (1918) и «Стихи о терроре» (1923). После 1925 г. не печатался. Умер в Коктебеле в 1932 г.

## МИР

С Россией кончено... На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях,
Распродали на улицах : не надо ль
Кому земли, республик, да свобод,
Гражданских прав? И родину народ
Сам выволок на гноище, как падаль.
О, Господи, разверзни, расточи,
Пошли на нас огонь, язвы и бичи.
Германцев с запада, Монгол с востока,
Отдай нас в рабство вновь и навсегда,
Чтоб искупить смиренно и глубоко
Иудин грех до Страшного Суда!

*23 ноября 1917 г.*

## DEMETRIUS IMPERATOR
(1591-1613)

Убиенный много и восставый,
Двадцать лет со славой правил я
Отчею Московскою державой,
И годины более кровавой
Не видала русская земля.

В Угличе, сжимая горсть орешков
Детской окровавленной рукой,
Я лежал, а мать, в сенях замешкав,
Голосила, плача надо мной.
С перерезанным наотмашь горлом
Я лежал в могиле десять лет;
И рука Господняя простерла
Над Москвой полетье лютых бед.
Голод был, какого не видали.
Хлеб пекли из кала и мезги.
Землю ели. Бабы продавали
С человечьим мясом пироги.
Проклиная царство Годунова,
Толпы толп без хлеба и без крова
Мерли у набитых закромов.
И разъялась земная утроба,
И на зов стенящих голосов
Вышел я — замученный — из гроба.

По Руси, что вихорь, засвистал,
Освещал свой путь двойной луною,
Посолнцы на небе засвечал.
Шестернею в полночь над Москвою
Мчал, бичом по маковкам хлестал.
Вихрь-витной, гулял я в ратном поле,
На Московском венчанный престоле
Древним Мономаховым венцом,

С белой панной — с лебедью — с Мариной
Я — живой и мертвый, — но единый
Обручался заклятым кольцом.

Но Москва дыхнула дыхом злобным —
Мертвый я лежал на месте Лобном
В черной маске с дудкою в руке,
А вокруг — вблизи и вдалеке —
Огоньки болотные горели,
Бубны били, плакали сопели,
Песни пели бесы на реке...
Не видала Русь такого сраму!
А когда свезли меня на яму,
И свалили в смрадную дыру, —
Из могилы тело выходило
И лежало цело на яру.
И земля меня не принимала,
И вода от трупа отливала.
На куски разрезали, сожгли,
Пепл собрали, в пушку зарядили,
С четырех застав Москвы палили
На четыре стороны земли.

Тут тогда меня уж стало много:
Я пошел из Польши, из Литвы,
Из Путивля, Астрахани, Пскова,
Из Оскола, Ливен, из Москвы...
Понапрасно в обличенье вора
Царь Василий, не стыдясь позора,
Детский труп из Углича опять
Вез в Москву — народу показать,
Чтобы я на царском на призоре
Почивал в Архангельском соборе,
Да рыдала в изголовьи мать.

А Марина в Тушино бежала
И меня живого обнимала,

И, собрав неслыханную рать,
Подступал я вновь к Москве со славой...
А потом лежал опять — безглавый
В городе Калуге над Окой,
Умерщвлен татарами и Жмудью...
А Марина с обнаженной грудью,
Факелы подняв над головой,
Рыскала над мерзлою рекой,
И, кружась по-над Москвою, в гневе
Воскрешала новых мертвецов,
А меня живым несла во чреве...

И пошли на нас со всех концов,
И неслись мы парой сизых чаек
Вдоль по Волге, Каспию — на Яик, —
Тут и взяли царские стрелки
Лебеденка с Лебедью в силки.

Вся Москва собралась, что к обедне,
Как младенца — шел мне третий год —
Да казнили казнию последней
Около Серпуховских ворот.

Так, смущая Русь судьбою дивной,
Четверть века — мертвый, неизбывный —
Правил я лихой годиной бед...
И опять приду — чрез триста лет.

*19 декабря 1917 г.*

## ДЕМОНЫ ГЛУХОНЕМЫЕ

**«Кто так слеп, как раб Мой? И глух,**
**как вестник Мой, Мною посланный?»**
**Исайя 42, 19**

Они проходят по земле
Слепые и глухонемые
И чертят знаки огневые
В распахивающейся мгле.

Собою бездны озаряя,
Они не видят ничего,
Они творят, не постигая
Предназначенья своего.

Сквозь дымный сумрак преисподней
Они кидают вещий луч...
Их судьбы — это лик Господний,
Во мраке явленный из туч.

*29 декабря 1917 г.*

## СЕВЕРОВОСТОК

**«Да будет благословен приход твой — Бич Бога, которому я служу и не мне останавливать тебя.»**

**Слова Св. Лу, архиепископа Труаского, обращенные к Атилле.**

Расплясались, разгулялись бесы
По России вдоль и поперек, —
Рвет и крутит снежные завесы
Выстуженный Северовосток.

Ветер обнаженных плоскогорий,
Ветер тундр, полесий и поморий,
Черный ветер ледяных равнин,
Ветер смут, побоищ и погромов,
Медных зорь, багровых окаемов,
Красных туч и пламенных годин.

Этот ветер был нам верным другом
На распутьи всех лихих дорог —
Сотни лет мы шли навстречу вьюгам,
С юга вдаль на северовосток.

Вейте, вейте, снежные стихии,
Заметая древние гроба.
В этом ветре — вся судьба России —
Страшная, безумная судьба.
В этом ветре — гнет веков свинцовых,
Русь Малют, Иванов, Годуновых —
Хищников, опричников, стрельцов,
Свежевателей живого мяса —
Чертогона, вихря, свистопляса —
Быль царей и явь большевиков.

Что менялось? Знаки и возглавья?
Тот же ураган на всех путях:
В комиссарах — дух самодержавья,
Взрывы Революции — в царях.

Вздеть на виску, выбить из подклетья,
И швырнуть вперед через столетья
Вопреки законам естества —
Тот же хмель и та же трын-трава.

Ныне ль, даве ль — все одно и то же:
Волчьи морды, машкеры и рожи,
Спертый дух и одичалый мозг,
Сыск и кухня Тайных Канцелярий,
Пьяный гик осатанелых тварей,
Жгучий свист шпицрутенов и розг,
Дикий сон военных поселений,
Фаланстер, парадов и равнений,
Павлов, Аракчеевых, Петров,
Жутких Гатчин, страшных Петербургов,
Замыслы неистовых хирургов
И размах заплечных мастеров,
Сотни лет тупых и зверских пыток,
И еще не весь развернут свиток,
И не замкнут список палачей:
Бред разведок, ужас чрезвычаек —
Ни Москва, ни Астрахань, ни Яик
Не видали времени горчей.

Бей в лицо и режь нам грудь ножами,
Жги войной, усобьем, мятежами —
Сотни лет навстречу всем ветрам
Мы идем по ледяным пустыням —
Не дойдем... и в снежной вьюге сгинем,
Иль найдем поруганный наш храм. —
Нам ли весить замысел Господний?
Все поймем, все вынесем любя —
Жгучий ветр полярной Преисподней —
Божий бич, — приветствую тебя!

*1920*

## ЗАКЛЯТИЕ

Из крови, пролитой в боях,
Из праха обращенных в прах,
Из мук казненных поколений,
Из душ, крестившихся в крови,
Из ненавидящей любви,
Из преступлений, исступлений —
Возникнет праведная Русь.

Я за нее одну молюсь
И верю замыслам предвечным:
Ее куют ударом мечным,
Она мостится на костях,
Она святится в ярых битвах,
На жгучих строится мощах,
В безумных плавится молитвах.

*1920*

## ГОТОВНОСТЬ

Я не сам ли выбрал час рожденья,
Век и царство, область и народ,
Чтоб пройти сквозь муки и крещенье
Совести, огня и вод?

Апокалиптическому зверю
Вверженный в зияющую пасть,
Павший глубже, чем возможно пасть,
В скрежете и в смраде — верю.

Верю в правоту верховных сил,
Расковавших древние стихии,
И из недр обугленной России
Говорю: «Ты прав, что так судил».

Надо до алмазного закала
Прокалить всю толщу бытия,
Если ж дров в плавильной печи мало —
Господи! — вот плоть моя!

*Ноябрь 1921*

## НА ДНЕ ПРЕИСПОДНЕЙ

*Памяти А. Блока и Н. Гумилева*

С каждым днем всё диче и всё глуше
Мертвенная цепенеет ночь.
Смрадный ветр, как свечи, жизни тушит.
Ни позвать, ни крикнуть, ни помочь.

Темен жребий русского поэта:
Неисповедимый рок ведет
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского на эшафот.

Может быть, такой же жребий выну,
Горькая детоубийца-Русь,
И на дне твоих подвалов сгину,
Иль в кровавой луже поскользнусь,

Но твоей голгофы не покину,
От твоих могил не отрекусь, —
Доканает голод или злоба, —
Но судьбы не изберу иной:
Умирать, так умирать с тобой,
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба.

*Ноябрь 1921*

## ПОТОМКАМ

Кто передаст потомкам нашу повесть?
Ни записи, ни мысли, ни слова
К ним не дойдут: все знаки слижет пламя
И выест кровь слепые письмена.
Но может быть благоговейно память
Случайно стих изустно передаст.
Никто из вас не ведал то, что мы
Изжили до конца, вкусили полной мерой:
Свидетели великого распада —
Мы видели безумья целых рас,
Крушенье царств, косматые светила,
Прообразы последнего Суда.
Мы пережили Илиады войн
И Апокалипсисы Революций.

Мы вышли в путь в закатной славе века,
В последний час всемирной тишины,
Когда слова о зверствах и о войнах
Казались всем неповторимой сказкой.
Но мрак, и брань, и мор, и ветр, и глад —
Застигли нас посереди дороги,
Разверзлись хляби душ и недра жизни,
И нас слизнул ночной водоворот.
Стал человек — один другому — дьявол.
Кровь — спайкой душ. Борьба за жизнь — законом.
И долгом — месть. Но мы не покорились!
Ослушники законов естества —
На дне темниц мы выносили силу
Неодолимую любви. И в пытках
Мы выучились верить и молиться
За палачей. Мы поняли, что каждый
Есть падший ангел в дьявольской личине.
В огне застенков выплавили радость
О преосуществленьи человека,

И никогда не грезили прекрасней
И пламенней — его последних судеб.

Далекие потомки наши! Знайте,
Что если вы живете во вселенной,
Где каждая частица вещества
С другою слита жертвенной любовью,
Где человечеством преодолен
Закон необходимости и смерти, —
То в этом мире есть и наша доля!

*Май 1922*

# ФЕДОР СОЛОГУБ

## (Настоящее имя — Федор Кузьмич Тетерников)

**Родился в 1863 г. в Петербурге в семье портного и кухарки. Окончил учительский институт и после этого долгое время был учителем в провинции, а потом в Петербурге. Начал печататься с 1884 г. Первая книга стихов и первая книга рассказов вышли в 1896 г. Роман «Мелкий бес» появился в 1907 г. Сологуб был одним из вождей символистского течения. После самоубийства жены в 1921 г. тщетно пытался уехать заграницу. В советское время почти не печатался и жил переводами. Умер в 1927 г. в Детском Селе (теперь Пушкин).**

---

Муза, как ты истомилась
Созерцаньем диких рож!
Как покорно приучилась
Ждать в приемных у вельмож!

Утешаешься куреньем,
Шутишь шутки, сердце сжав,
Запасись еще терпеньем, —
Всякий путь для музы прав.

*1920*

Дон-Кихот путей не выбирает,
Россинант дорогу сам найдет.
Доблестного враг везде встречает,
С ним всегда сразится Дон-Кихот.

Славный круг насмешек, заблуждений,
Злых обманов, скорбных неудач,
Превращений, битв и поражений
Пробежит славнейшая из кляч.

Сквозь скрежещущий и ржавый грохот
Колесницы пламенного дня,
Сквозь проклятья, свист, глумленья, хохот,
Меч утратив, щит, копье, коня,

Добредет к ограде Дульцинеи
Дон-Кихот. Открыты ворота,
Розами усеяны аллеи,
Срезанными с каждого куста.

Подавив непрошенные слезы,
Спросит Дон-Кихот пажа: — Скажи,
Для чего загублены все розы? —
— Весть пришла в чертоги госпожи,

Что стрелой отравленной злодея
Насмерть ранен верный Дон-Кихот.
Госпожа сказала: «Дульцинея
Дон-Кихота не переживет».

И, оплаканная горько нами,
Госпожа вкусила вечный сон,
И сейчас над этими цветами
Будет гроб ее перенесен.

И пойдет за гробом бедный рыцарь.
Что ему глумленье и хула?
Дульцинея, светлая царица
Радостного рая, умерла!

*11 июля 1922 г.*

Вот подумай и пойми:
В мире ты живешь с людьми, —
Словно в лесе, в темном лесе,
Где написан бес на бесе, —
Зверь с такими же зверьми.

Вот и дом тебе построен,
Он уютен и спокоен,
И живешь ты в нем с людьми,
Но таятся за дверьми
Хари, годные для боен.

Человек иль злобный бес
В душу, как в карман, залез,
Наплевал там и нагадил,
Все испортил, все разладил
И, хихикая, исчез.

Эти чище, чем с небес,
И даются всем по вере.
Смрадно скучившись у двери,
Над тобой смеются звери:
— Дождался, дурак, чудес?

Дурачок, ты всем не верь, —
Шепчет самый гнусный зверь, —
Хоть блевотину на блюде
Поднесут с поклоном люди,
Ешь и зубы им не щерь.

*13 сентября 1926 г.*

Какое б ни было правительство
И что б ни говорил закон,
Твое мы ведаем властительство,
О светозарный Аполлон.

*1927*

Подыши еще немного
Тяжким воздухом земным.
Бедный, слабый воин Бога,
Весь истаявший, как дым.

Что Творцу твои страданья?
Капля жизни в море лет!
Вот — одно воспоминанье,
Вот — и памяти уж нет.

Но как прежде — ярки зори,
И как прежде — ясен свет,
«Плещет море на просторе»,
Лишь тебя на свете нет.

Подыши ж еще немного
Сладким воздухом земным,
Бедный, слабый воин Бога,
И — уйди, как легкий дым...

*1927*



# II

# Осип Эмильевич
# МАНДЕЛЬШТАМ

Родился в 1892 г. в семье еврейского торговца кожей. Окончил Петербургский Университет. Начал печататься в 1911 г. в журнале «Аполлон», потом примкнул к акмеистам. Книги стихов: «Камень» (1913), «TRISTIA» (1922), «Стихотворения» (1928). Проза: мемуарные очерки «Шум времени» (1925), повесть «Египетская марка» (1928). Отдельные стихотворения продолжали появляться в журналах («Новый мир», «Звезда») до 1933 г. После этого Мандельштам исчезает. Утверждают, что, отбыв свой срок в концентрационном лагере, он работал в провинциальной газете; этот городок был занят немцами во время второй мировой войны, и Мандельштам погиб.

Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной...

*1908*

Дано мне тело — что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло,

Запечатлеется на нем узор,
Неузнаваемый с недавних пор.

Пускай мгновения стекает муть —
Узора милого не зачеркнуть.

*1909*

---

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади.

*1912*

## ПЕТЕРБУРГСКИЕ СТРОФЫ

Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель,
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель.

Зимуют пароходы. На припеке
Зажглось каюты толстое стекло.
Чудовищна, — как броненосец в доке, —
Россия отдыхает тяжело.

А над Невой — посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства жесткая порфира,
Как власяница грубая, бедна.

Тяжка обуза северного сноба —
Онегина старинная тоска;
На площади сената — вал сугроба,
Дымок костра и холодок штыка...

Черпали воду ялики, и чайки
Морские посещали склад пеньки,
Где, продавая и сбитень и сайки,
Лишь оперные бродят мужики.

Летит в туман моторов вереница;
Самолюбивый, скромный пешеход —
Чудак Евгений — бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет!

*1913*

В спокойных пригородах снег
Сгребают дворники лопатами;
Я с мужиками бородатыми
Иду, прохожий человек.

Мелькают женщины в платках,
И тявкают дворняжки шалые,
И самоваров розы алые
Горят в трактирах и домах.

*1913*

---

Природа — тот же Рим и отразилась в нем.
Мы видим образы его гражданской мощи
В прозрачном воздухе, как в цирке голубом,
На форуме полей и в колоннаде рощи.

Природа — тот же Рим, и, кажется, опять
Нам незачем богов напрасно беспокоить —
Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать,
Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить!

*1914*

О временах простых и грубых
Копыта конские твердят.
И дворники в тяжелых шубах
На деревянных лавках спят.

На стук в железные ворота
Привратник, царственно ленив,
Встал, и звериная зевота
Напомнила твой образ, скиф!

Когда с дряхлеющей любовью
Мешая в песнях Рим и снег,
Овидий пел арбу воловью,
В походе варварских телег.

*1914*

Есть иволги в лесах, и гласных долгота
В тонических стихах единственная мера.
Но только раз в году бывает разлита
В природе длительность, как в метрике Гомера.

Как бы цезурою зияет этот день:
Уже с утра покой и трудные длинноты;
Волы на пастбище, и золотая лень
Из тростника извлечь богатство целой ноты.

*1914*

Я не увижу знаменитой «Федры»,
В старинном многоярусном театре,
С прокопченной высокой галереи,
При свете оплывающих свечей.
И, равнодушен к суете актеров,
Сбирающих рукоплесканий жатву,
Я не услышу, обращенный к рампе,
Двойною рифмой оперенный стих:

— Как эти покрывала мне постылы...

Театр Расина! Мощная завеса
Нас отделяет от другого мира;
Глубокими морщинами волнуя,
Меж ним и нами занавес лежит.
Спадают с плеч классические шали,
Расплавленный страданьем крепнет голос.
И достигает скорбного закала
Негодованьем раскаленный слог...

Я опоздал на празднество Расина...

Вновь шелестят истлевшие афиши,
И слабо пахнет апельсинной коркой,
И, словно из столетней летаргии,
Очнувшийся, сосед мне говорит:
— Измученный безумством Мельпомены,
Я в этой жизни жажду только мира;
Уйдем, покуда зрители-шакалы
На растерзанье Музы не пришли!

Когда бы грек увидел наши игры...

*1915*

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи —
На головах царей божественная пена —
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам, одна, ахейские мужи?

И море и Гомер — всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот, Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

*1915*

В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час нам смертная година.

Богиня моря, грозная Афина,
Сними могучий каменный шелом.
В Петрополе прозрачном мы умрем, —
Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.

*1916*

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем,
И блаженное, бессмысленное слово
В первый раз произнесем.
В черном бархате январской ночи,
В бархате всемирной пустоты,
Всё поют блаженных жен родные очи,
Всё цветут бессмертные цветы.

Дикой кошкой горбится столица,
На мосту патруль стоит,
Только злой мотор во мгле промчится
И кукушкой прокричит.
Мне не надо пропуска ночного,
Часовых я не боюсь:
За блаженное, бессмысленное слово
Я в ночи январской помолюсь.

Слышу легкий театральный шорох
И девическое «ах» —
И бессмертных роз огромный ворох
У Киприды на руках.
У костра мы греемся от скуки,
Может быть, века пройдут,
И блаженных жен родные руки
Легкий пепел соберут.

Где-то хоры сладкие Орфея
И родные темные зрачки,
И на грядки кресел с галереи
Падают афиши-голубки.
Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи,
В черном бархате всемирной пустоты
Всё поют блаженных жен крутые плечи,
А ночного солнца не заметишь ты.

1916

Золотистого меда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
Мы совсем не скучаем — и через плечо поглядела.

Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни
Сторожа и собаки — идешь, никого не заметишь —
Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни:
Далеко в шалаше голоса — не поймешь, не ответишь.

После чаю мы вышли в огромный коричневый сад,
Как ресницы, на окнах опущены шторы.
Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград,
Где воздушным стеклом обливаются сонные горы.

Я сказал: виноград, как старинная битва, живет,
Где курчавые всадники вьются в кудрявом порядке,
В каменистой Тавриде наука Эллады — и вот
Золотых десятин благородные, ржавые грядки.

Ну а в комнате белой, как прялка, стоит тишина.
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.
Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена —
Не Елена — другая — как долго она вышивала?

Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем
полный.

*1917*

## ДЕКАБРИСТ

— Тому свидетельство языческий сенат —
Сии дела не умирают!
Он раскурил чубук и запахнул халат,
А рядом в шахматы играют.

Честолюбивый сон он променял на сруб
В глухом урочище Сибири,
И вычурный чубук у ядовитых губ,
Сказавших правду в скорбном мире.

Шумели в первый раз германские дубы.
Европа плакала в тенетах.
Квадриги черные вставали на дыбы
На триумфальных поворотах.

Бывало, голубой в стаканах пунш горит.
С широким шумом самовара
Подруга рейнская тихонько говорит,
Вольнолюбивая гитара.

— Еще волнуются живые голоса
О сладкой вольности гражданства!
Но жертвы не хотят слепые небеса:
Вернее труд и постоянство.

Все перепуталось и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
Все перепуталось и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.

*1917*

## TRISTIA

Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных.
Жуют волы, и длится ожиданье,
Последний час веселий городских,
И чту обряд той петушиной ночи,
Когда, подняв дорожной скорби груз,
Глядели в даль заплаканные очи,
И женский плач мешался с пеньем муз.

Кто может знать при слове — расставанье,
Какая нам разлука предстоит,
Что нам сулит петушье восклицанье,
Когда огонь в акрополе горит,
И на заре какой-то новой жизни,
Когда в сенях лениво вол жует,
Зачем петух, глашатай новой жизни,
На городской стене крылами бьет?

И я люблю обыкновенье пряжи:
Снует челнок, веретено жужжит.
Смотри, навстречу, словно пух лебяжий,
Уже босая Делия летит!
О, нашей жизни скудная основа,
Куда как беден радости язык!
Всё было встарь, всё повторится снова,
И сладок нам лишь узнаванья миг.

Да будет так: прозрачная фигурка
На чистом блюде глиняном лежит,
Как беличья распластанная шкурка,
Склонясь над воском, девушка глядит.
Не нам гадать о греческом Эребе,
Для женщин воск, что для мужчины медь.
Нам только в битвах выпадает жребий,
А им дано гадая умереть.

*1918*

Сестры — тяжесть и нежность — одинаковы ваши
приметы.
Медуницы и осы тяжелую розу сосут.
Человек умирает. Песок остывает согретый,
И вчерашнее солнце на черных носилках несут.

Ах, тяжелые соты и нежные сети,
Легче камень поднять, чем имя твое повторить!
У меня остается одна забота на свете:
Золотая забота, как времени бремя избыть.

Словно темную воду, я пью помутившийся воздух.
Время вспахано плугом и роза землею была.
В медленном водовороте тяжелые, нежные розы,
Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела!

*1920*

Чуть мерцает призрачная сцена,
Хоры слабые теней,
Захлестнула шелком Мельпомена
Окна храмины своей.
Черным табором стоят кареты,
На дворе мороз трещит,
Все космато — люди и предметы;
И горячий снег хрустит.

Понемногу челядь разбирает
Шуб медвежьих вороха.
В суматохе бабочка летает.
Розу кутают в меха.
Модной пестряди кружки и мошки,
Театральный легкий жар,
А на улице мигают плошки
И тяжелый валит пар.

Кучера измаялись от крика,
И храпит и дышит тьма.
Ничего, голубка Эвридика,
Что у нас студеная зима.
Слаще пенья итальянской речи
Для меня родной язык,
Ибо в нем таинственно лепечет
Чужеземных арф родник.

Пахнет дымом бедная овчина,
От сугроба улица черна.
Из блаженного, певучего притина
К нам летит бессмертная весна.
Чтобы вечно ария звучала:
— Ты вернешься на зеленые луга,
И живая ласточка упала
На горячие снега.

*1920*

За то, что я руки твои не сумел удержать,
За то, что я предал соленые нежные губы —
Я должен рассвета в дремучем акрополе ждать.
Как я ненавижу пахучие, древние срубы.

Ахейские мужи во тьме снаряжают коня,
Зубчатыми пилами в стены врезаются крепко,
Никак не уляжется крови сухая возня,
И нет для тебя ни названья, ни звука, ни слепка.

Как мог я подумать, что ты возвратишься, как смел?
Зачем преждевременно я от тебя оторвался?
Еще не рассеялся мрак и петух не пропел,
Еще в древесину горячий топор не врезался.

Прозрачной слезой на стенах проступила смола,
И чувствует город свои деревянные ребра,
Но хлынула к лестницам кровь и на приступ пошла,
И трижды приснился мужам соблазнительный образ.

Где милая Троя? где царский, где девичий дом?
Он будет разрушен, высокий Приамов скворешник.
И падают стрелы сухим деревянным дождем,
И стрелы другие растут на земле, как орешник.

Последней звезды безболезненно гаснет укол,
И серою ласточкой утро в окно постучится,
И медленный день, как в соломе проснувшийся вол,
На стогнах шершавых от долгого сна шевелится.

*1920*

Возьми на радость из моих ладоней
Немного солнца и немного меда,
Как нам велели пчелы Персефоны.

Не отвязать неприкрепленной лодки,
Не услыхать в меха одетой тени,
Не превозмочь в дремучей жизни страха.

Нам остаются только поцелуи,
Мохнатые, как маленькие пчелы,
Что умирают, вылетев из улья.

Они шуршат в прозрачных дебрях ночи,
Их родина дремучий лес Тайгета,
Их пища — время, медуница, мята.

Возьми ж на радость дикий мой подарок,
Невзрачное сухое ожерелье
Из мертвых пчел, мед превративших в солнце.

*1920*

## ФЕОДОСИЯ

Окружена высокими холмами,
Овечьим стадом ты с горы сбегаешь,
И розовыми, белыми камнями
В сухом прозрачном воздухе сверкаешь.
Качаются разбойничьи фелюги,
Горят в порту турецких флагов маки,
Тростинки мачт, хрусталь волны упругий
И на канатах лодочки-гамаки.

На все лады, оплаканное всеми,
С утра до ночи «яблочко» поется.
Уносит ветер золотое семя —
Оно пропало — больше не вернется.
А в переулочках, чуть свечерело,
Пиликают, согнувшись, музыканты,
По-двое и по-трое, неумело,
Невероятные свои варьянты.

О, горбоносых странников фигурки!
О, средиземный радостный зверинец!
Расхаживают в полотенцах турки,
Как петухи у маленьких гостиниц.
Везут собак в тюрьмоподобной фуре,
Сухая пыль по улицам несется,
И хладнокровен средь базарных фурий
Монументальный повар с броненосца.

Идем туда, где разные науки,
И ремесло — шашлык и чебуреки,
Где вывеска, изображая брюки,
Дает понятье нам о человеке.
Мужской сюртук — без головы стремленье,
Цирюльника летающая скрипка
И месмерический утюг — явленье
Небесных прачек — тяжести улыбка.

Здесь девушки стареющие в чёлках
Обдумывают странные наряды,
И адмиралы в твердых треуголках
Припоминают сон Шехерезады.
Прозрачна даль. Немного винограда.
И неизменно дует ветер свежий.
Недалеко до Смирны и Багдада,
Но трудно плыть, а звезды всюду те же.

*1920*

Кому зима, арак и пунш голубоглазый,
Кому душистое с корицею вино,
Кому жестоких звезд соленые приказы
В избушку дымную перенести дано.

Немного теплого куриного помета
И бестолкового овечьего тепла;
Я всё отдам за жизнь — мне так нужна забота —
И спичка серная меня б согреть могла.

Взгляни: в моей руке лишь глиняная крынка,
И верещанье звезд щекочет слабый слух,
Но желтизну травы и теплоту суглинка
Нельзя не полюбить сквозь этот жалкий пух.

Тихонько гладить шерсть и ворошить солому,
Как яблоня зимой в рогоже голодать,
Тянуться с нежностью бессмысленно к чужому
И шарить в пустоте, и терпеливо ждать.

Пусть люди темные торопятся по снегу
Отарою овец и хрупкий наст скрипит,
Кому зима — полынь и горький дым к ночлегу —
Кому — крутая соль торжественных обид.

О, если бы поднять фонарь на длинной палке,
С собакой впереди идти под солью звезд,
И с петухом в горшке прийти на двор к гадалке.
А белый, белый снег до боли очи ест.

*1922*

## ВЕК

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки,
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей,
Захребетник лишь трепещет
На пороге новых дней.

Тварь, покуда жизнь хватает,
Донести хребет должна,
И невидимым играет
Позвоночником волна.
Словно нежный хрящ ребенка,
Век младенческий земли —
Снова в жертву, как ягненка,
Темя жизни принесли.

Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать.
Это век волну колышит
Человеческой тоской,
И в траве гадюка дышит
Мерой века золотой.

И еще набухнут почки,
Брызнет зелени побег,
Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век.
И с бессмысленной улыбкой
Вспять глядишь, жесток и слаб,
Словно зверь, когда-то гибкий,
На следы своих же лап.

*1923*

## А НЕБО БУДУЩИМ БЕРЕМЕННО...

Опять войны разноголосица
На древних плоскогорьях мира,
И лопастью пропеллер лоснится,
Как кость точеная тапира.
Крыла и смерти уравнение,
С алгебраических пирушек
Слетев, он помнит измерение
Других эбеновых игрушек,
Врагиню ночь, рассадник вражеский,
Существ коротких, ластоногих
И молодую силу тяжести:
Так начиналась власть немногих...

Итак, готовьтесь жить во времени,
Где нет ни волка, ни тапира,
А небо будущим беременно,
Пшеницей сытого эфира.
А то сегодня победители
Кладбище лета обходили,
Ломали крылья стрекозиные
И молоточками казнили.

Давайте слушать грома заповедь,
Как внуки Себастьяна Баха,
И на востоке и на западе
Органные поставим крылья!
Давайте бросим бури яблоко
На стол пирующим землянам
И на стеклянном блюде облако
Поставим яств посередине.
Давайте всё накроем заново
Камчатной скатертью пространства,
Переговариваясь, радуясь,
Друг другу подавая брашна.

На круговом на мирном судьбище
Зарею кровь оледенится.
В беременном глубоком будущем
Жужжит большая медуница.

А вам, в безвременьи летающим
Под хлыст войны за власть немногих —
Хотя бы честь млекопитающих,
Хотя бы совесть — ластоногих.
И тем печальнее, тем горше нам,
Что люди-птицы хуже зверя
И что стервятникам и коршунам
Мы поневоле больше верим.
Как шапка холода альпийского,
Из года в год, в жару и лето,
На лбу высоком человечества
Войны холодные ладони.
А ты, глубокое и сытое,
Забеременевшее лазурью,
Как чешуя многоочитое,
И альфа и омега бури;
Тебе — чужое и безбровое —
Из поколенья в поколенье,
Всегда высокое и новое
Передается удивленье.

*1923*

Вы, с квадратными окошками, невысокие дома.
Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима.

И торчат, как щуки ребрами, незамерзшие катки,
И еще в прихожих слепеньких валяются коньки.

А давно ли по каналу плыл с красным обжигом гончар.
Продавал с гранитной лесенки добросовестный товар.

Ходят боты, ходят серые у гостиного двора,
И сама собой сдирается с мандаринов кожура.

И в мешочке кофий жареный, прямо с холоду домой,
Электрическою мельницей смолот мокко золотой.

Шоколадные, кирпичные, невысокие дома,
Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима.

И приемные с роялями, где, по креслам рассадив,
Доктора кого-то потчуют ворохами старых Нив.

После бани, после оперы, — все равно, куда ни шло.
Бестолковое последнее трамвайное тепло.

*1925*

Я буду метаться по табору улицы темной
За веткой черемухи в черной рессорной карете,
За капором снега, за вечным за мельничным шумом...

Я только запомнил каштановых прядей осечки
Придымленных горечью, нет — с муравьиной
кислинкой;
От них на губах остается янтарная сухость.

В такие минуты и воздух мне кажется карим,
И кольца зрачков одеваются выпушкой светлой,
И то, что я знаю о яблочной, розовой коже...

Но все же скрипели извозчичьих санок полозья,
В плетенку рогожи глядели колючие звезды,
И били в разрядку копыта по клавишам мерзлым.

И только и свету — что в звездной колючей неправде,
А жизнь проплывет театрального капора пеной;
И некому молвить: «из табора улицы темной»...

*1925*

С миром державным я был лишь ребячески связан,
Устриц боялся и на гвардейцев смотрел исподлобья,
И ни крупицей души я ему не обязан,
Как я ни мучил себя по чужому подобью.
С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой
Я не стоял под египетским портиком банка,
И над лимонной Невою под хруст сторублевый
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.
Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных
Я убежал к нереидам на Черное море,
И от красавиц тогдашних — от тех европеянок
нежных —
Сколько я принял смущенья, надсады и горя.
Так отчего ж до сих пор этот город довлеет
Мыслям и чувствам моим по старинному праву,
Он от пожаров еще и морозов наглеет,
Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый.
Не потому ль, что я видел на детской картинке
Лэди Годиву с распущенной рыжею гривой,
Я повторяю еще про себя под сурдинку:
Лэди Годива, прощай... Я не помню, Годива.

*Февраль 1931*

Там, где купальни, бумагопрядильни
И широчайшие зеленые сады,
На реке Мо́скве есть светоговорильня
С гребешками отдыха, культуры и воды.

Эта слабогрудая речная волокита,
Скучные-нескучные, как халва, холмы,
Эти судоходные марки и открытки,
На которых носимся и несемся мы.

У реки Оки вывернуто веко,
Оттого-то и на Москве ветерок.
У сестрицы Клязьмы загнулась ресница,
Оттого на Яузе утка плывет.

На Москве-реке почтовым пахнет клеем,
Там играют Шуберта в раструбы рупоров,
Вода на булавках и воздух нежнее
Лягушиной кожи воздушных шаров.

*Май 1932*

## БАТЮШКОВ

Словно гуляка с волшебной тростью,
Батюшков нежный со мною живет.
Он тополями шагает в замостье,
Нюхает розу и Зафну поет.

Ни на минуту не веря в разлуку,
Кажется, я поклонился ему:
В светлой перчатке холодную руку
Я с лихорадочной завистью жму.

Он усмехнулся. Я молвил: спасибо.
И не нашел от смущенья слов:
— Ни у кого — этих звуков изгибы...
— И никогда — этот говор валов...

Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес
Шум стихотворства и колокол братства,
И гармонический проливень слез.

И отвечал мне оплакавший Тасса:
— Я к величаньям еще не привык,
Только стихов виноградное мясо
Мне освежило, случайно, язык...

Что ж! Поднимай удивленные брови,
Ты, горожанин и друг горожан,
Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан...

*18 июня 1932 г.*

# Николай Александрович КЛЮЕВ

**Родился в 1887 г. в деревне Олонецкого края (около г. Вытегры) в старообрядческой семье солдата и крестьянки. В отроческом возрасте начал писать духовные песни для хлыстов, составившие потом его второй сборник «Братские песни». Впоследствии был некоторое время хозяином хлыстовской квартиры в Баку. Первая книга стихов — «Сосен перезвон» (1912). За нею следуют «Мирские думы» (1914), «Лесные были», «Сердце единорога», «Долина единорога». В 1917 г. сближается с группой «Скифов». Революцию встретил сборником «Красный зык». 1922 г. — поэма «Четвертый Рим». После этого почти не печатался. В конце 20-х г. г. написал поэму «Погорельщина» (не напечатана). После того, как был раскулачен в родной деревне, переселяется в Ленинград. В 1933 г. арестован и сослан в Нарымский край. В ссылке написал «Песнь о Великой матери». В 1934 г., по ходатайству Горького, был переведен в Томск на вольное поселение, где снова арестован. Умер в 1937 г., возвращаясь из ссылки.**

---

19

В златотканные дни Сентября
Мнится папертью бора опушка.
Сосны молятся, ладан куря,
Над твоей опустелой избушкой.

Ветер-сторож следы старины
Заметает листвой шелестящей.
Распахни узорочье сосны,
Промелькни за березовой чащей!

Я узнаю косынки кайму,
Голосок с легковейной походкой...
Сосны шепчут про мрак и тюрьму,
Про мерцание звезд за решёткой,

Про бубенчик в жестоком пути,
Про седые, бурятские дали...
Мир вам, сосны, вы думы мои,
Как родимая мать, разгадали!

В поминальные дни Сентября
Вы сыновнюю тайну узнайте,
И о той, что погибла любя,
Небесам и земле передайте.

*(1912)*

Любви начало было летом,
Конец — осенним Сентябрем.
Ты подошла ко мне с приветом
В наряде девичьи-простом.

Вручила красное яичко,
Как символ крови и любви:
Не торопись на Север, птичка,
Весну на Юге обожди!

Синеют дымно перелески,
Настороженны и немы,
За узорочьем занавески
Не видно тающей зимы.

Но сердце чует: есть туманы,
Движенье смутное лесов,
Неотвратимые обманы
Лилово-сизых вечеров.

О, не лети в туманы пташкой!
Года уйдут в седую мглу —
Ты будешь нищею монашкой
Стоять на паперти в углу.

И, может быть, пройду я мимо,
Такой же нищий и худой...
О, дай мне крылья херувима
Лететь незримо за тобой!

Не обойти тебя приветом,
И не раскаяться потом...
Любви начало было летом,
Конец — осенним Сентябрем.

*(1912)*

Есть то, чего не видел глаз,
Не уловляло вечно ухо:
Цветы лучистей, чем алмаз,
И дали призрачнее пуха.

Недостижимо смерти дно,
И реки жизни быстротечны, —
Но есть волшебное вино
Продлить чарующее вечно.

Его испив, не меркнущ я,
В полете времени безлетен,
Как моря вал из бытия —
Умчусь певуч и многоцветен.

И всем, кого томит тоска,
Любовь и бренные обеты,
Зажгу с высот Материка
Путеводительные светы.

Пашни буры, межи зелены,
Спит за елями закат,
Камней мшистые расщелины
Влагу вешнюю таят.

Хороша лесная родина:
Глушь да поймища кругом!..
Прослезилася смородина,
Травный слушая псалом.

И не чую больше тела я,
Сердце — всхожее зерно...
Прилетайте, птицы белые,
Клюйте ярое пшено!

Льются сумерки прозрачные,
Кроют дали, изб коньки,
И березки — свечи брачные —
Теплят листья — огоньки.

Я люблю цыганские кочевья,
Свист костра и ржанье жеребят,
Под луной, как призраки, деревья,
И ночной железный листопад.

Я люблю кладбищенской сторожки
Нежилой, пугающий уют,
Дальний звон и с крестиками ложки,
В чьей резьбе заклятия живут.

Зорькой тишь, гармонику в потемки,
Дым овина, в росах коноплю...
Подивятся дальние потомки
Моему безбрежному «люблю».

Что до них? Улыбчивые очи
Ловят сказки теми и лучей...
Я люблю остожья, грай сорочий,
Близь и дали, рощу и ручей.

Галка-староверка ходит в черной ряске,
В лапотках с оборой, в сизой подпояске.
Голубь в однорядке, воробей в сибирке,
Курица ж в салопе — клеваные дырки.
Гусь в дубленой шубе, утке ж на задворках
Щеголять далося в дедовских опорках.

В галочьи потемки, взгромоздясь на жердки,
Спят, нахохлив зобы, курицы-молодки; —
Лишь петух-кудесник, запахнувшись в саван,
Числит звездный бисер, чует травный ладан.

На погосте свечкой теплятся гнилушки,
Доплетает леший лапоть на опушке,
Верезжит в осоке проклятый младенчик...
Петел ждет, чтоб зорька нарядилась в венчик.

У зари нарядов три-девять укладок...
На ущербе ночи сон куриный сладок:
Спят монашка-галка, воробей-горошник...
Но едва забрезжит заревой кокошник —
Звездочет крылатый трубит в рог волшебный:
«Пробудитесь, птицы, пробил час хвалебный!
И, пернатым брашно, на бугор, на плесо,
Рассыпает солнце золотое просо!»

От кудрявых стружек тянет смолью,
Духовит, как улей, белый сруб.
Крепкогрудый плотник тешет колья,
На слова медлителен и скуп.

Тепел паз, захватисты кокоры,
Крутолоб тесовый шоломок.
Будут рябью писаны подзоры,
И лудянкой выпестрен конек.

По стене, как зернь, пройдут зарубки:
Сукрест, лапки, крапица, рядки,
Чтоб избе-молодке в красной шубке
Явь и сон мерещились — легки.

Крепкогруд строитель-тайновидец,
Перед ним щепа, как письмена:
Запоет резная пава с крылец,
Брызнет ярь с наличника окна.

И когда оческами кудели
Над избой взлохматится дымок —
Сказ пойдет о Красном Древоделе
По лесам, на запад, на восток.

Косогоры, низины, болота,
Над болотами ржавая марь.
Осыпается рощ позолота,
В бледном воздухе ладана гарь.

На прогалине теплятся свечи,
Озаряя узорчатый гроб,
Бездыханные девичьи плечи,
И молитвенный, с венчиком, лоб.

Осень — с бледным челом инокиня —
Над покойницей правит обряд.
Даль мутна, речка призрачно синя,
В роще дятлы зловеще стучат.

Звук ангелу собрат, бесплотному лучу,
И недруг топору, потемкам и сычу.
В предсмертном «ы-ы-ы!..» таится полузвук,
Он каплей и цветком уловится, как стук, —
Сорвется капля вниз и вострепещет цвет,
Но трепет не глагол, и в срыве звука нет.

Потемки с топором и правнук ночи, сыч,
В обители лесов поднимут хищный клич,
Древесный крови дух дойдет до Божьих звезд,
И сирины в раю слетят с алмазных гнезд;
Но крик железа глух и тяжек, как валун,
Ему не свить гнезда в блаженной роще струн.

Над зыбкой, при свече, старуха запоет:
Дитя, как злак росу, впивает певчий мед,
Но древний рыбарь-сон, чтоб лову не скудеть,
В затоне тишины созвучьям ставит сеть.
В бору, где каждый сук — моленная свеча,
Где хвойный херувим льет чашу из луча,
Чтоб приобщить того, кто голос уловил
Кормилицы мирской и пестуньи могил, —
Там, отроку-цветку лобзание даря,
Я слышал, как заре откликнулась заря,
Как вспел петух громов, и в вихре крыл возник,
Подобно рою звезд, многоочитый лик...
Миг выткал пелену, видение темня,
Но некая свирель томит с тех пор меня;
Я видел звука лик, и музыку постиг,
Даря уста цветку, без ваших ржавых книг!

Как гроб епископа, где ладан и парча
Полуистлевшие смешались с гнилью трупной,
Земные осени. Бурее кирпича
Осиновая глушь. Как склеп, ворам доступный,
Зияют небеса. Там муть, могильный сор,
И ветра-ключаря гнусавый разговор:
«Украден омофор, червонное кадило,
Навек осквернена священная могила: —
Вот митра — грязи кус, лохмотья орлеца»...
Земные осени унылы без конца.
Они живой зарок, что мира пышный склеп
Раскраден будет весь, и без замков и скреп
Лишь смерти-ключарю достанется в удел.
Дух взломщика, Господь, и туки наших тел
Смиряешь ты огнем и ранами войны,
Но струпья вновь мягчишь бальзамами весны,
Пугая осенью, как грозною вехой,
На росстани миров, где сумрак гробовой!

Шесток для кота, что амбар для попа,
К нему не заглохнет кошачья тропа:
Зола, как перина, — лежи, почивай —
Приснятся снетки, просяной каравай.

У матери-печи одно на уме:
Теплынь уберечь да всхрапнуть в полутьме;
Недаром в глухой, свечеревшей избе,
Как парусу в ведро, дремотно тебе.

Ой, вороны-сны, у невесты моей
Не выклевать нам беспотемных очей!
Летите к мурлыке, на теплый шесток,
Куда не заглянет прожорливый рок,

Где странники-годы почили золой,
И бесперечь хнычет горбун-домовой;
Ужели плакида, запечный жилец,
Почуял разлуку и сказки конец?

Кота ж лежебока будите скорей,
Чтоб был настороже у чутких дверей,
Мяукал бы злобно и хвост распушил,
На смерть трясогузую когти острил.

Бродит темень по избе,
Спотыкается спросонок,
Балалайкою в трубе
Заливается бесенок:

Трынь, да брынь, да тере-рень...
Чу! заутренные звоны!
Богородицына тень,
Просияв, сошла с иконы.

В дымовище сгинул бес,
Печь, как старица, вздохнула;
За окном бугор и лес
Зорька в сыту окунула.

Там, минуючи зарю,
Ширь безвестных плоскогорий,
Одолеть судьбу-змею
Скачет пламенный Егорий.

На задворки вышел Влас
С вербой, в венчике сусальном...
Золотой, воскресный час,
Просиявший в безначальном.

*В. Кириллову*

Мы — ржаные, толоконные,
Пестрядинные, запечные,
Вы — чугунные, бетонные,
Электрические, млечные.

Мы — огонь, вода и пажити,
Озимь, солнца пеклеванные,
Вы же таин не расскажете
Про сады благоуханные.

Ваши песни — стоны молота,
В них созвучья — шлак и олово; —
Жизни дерево надколото,
Не плоды на нем, а головы.

У подножья кости бранные,
Черепа с кромешным хохотом;
Где же крылья ураганные,
Поединок с мечным грохотом?

На святыни пролетарские,
Гнезда вить, слетелись филины;
Орды книжные, татарские,
Шестернею не осилены.

Кнут и кивер аракчеевский,
Как в былом, на троне буквенном.
Сон Кольцовский, терем Меевский
Утонули в море клюквенном.

Ваша кровь водой разбавлена
Из источника бумажного,
И змея не обезглавлена
Песней витязя отважного.

Мы — ржаные, толоконные,
Знаем Слово алатырное,
Чтобы крылья громобойные
Вас умчали во всемирное.

Там изба свирельным шоломом
Множит отзвуки павлинные...
Не глухим, бездушным оловом
Мир связать в снопы овинные.

Воск, с медынью яблоновою, —
Адамант в словостроении,
И цвести над Русью новою
Будут гречневые гении.



# III

## Сергей Александрович ЕСЕНИН

Родился в 1895 г. в селе Константиново Рязанской губ. в крестьянской семье. Окончил церковно-учительскую школу. Стихи начал писать в детстве. В 1913 г. едет в Петербург, где встречается с Блоком, Гиппиус, Клюевым и др. и решает заниматься литературой. Начинает печататься в 1914 г. Посещает народный университет Шанявского в Москве. В 1916 г. мобилизован, но после февральской революции дезертирует. В 1917 г. сближается с Ивановым-Разумником и «Скифами». Первая книга стихов «Радуница» вышла в 1916 г. Во время революции появились книги стихов «Преображение» и «Голубень», после революции «Трерядица», «Исповедь хулигана», «Москва кабацкая», «Персидские стихи» и «Русь Советская». В 1919 г. в Москве начал и возглавил имажинистское движение в поэзии. В 1922 г. женился на американской танцовщице Айседоре Дункан, с которой путешествовал по Европе и Америке. В 1924 г. ездил в Персию. В 1925 г. повесился в номере гостиницы «Англетер» в Ленинграде.

Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.

*1910*

Сохнет стаявшая глина,
На сугорьях гниль опенок.
Пляшет ветер по равнинам —
Рыжий ласковый осленок.

Пахнет вербой и смолою.
Синь то дремлет, то вздыхает.
У лесного аналоя
Воробей псалтирь читает.

Прошлогодний лист в овраге
Средь кустов — как ворох меди.
Кто-то в солнечной сермяге
На осленке рыжем едет.

Прядь волос нежней кудели,
Но лицо Его туманно.
Никнут сосны, никнут ели,
И кричат Ему: «Осанна!»

*1914*

Гой ты, Русь моя родная,
Хаты — в ризах образа...
Не видать конца и края —
Только синь сосет глаза.

Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонко чахнут тополя.

Пахнет молоком и медом
По церквам твой кроткий Спас,
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.

Побегу по мягкой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:
— Кинь ты Русь, живи в раю!
Я скажу: не надо рая,
Дайте родину мою.

*1914*

## 112

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
За снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.

С алым соком ягоды на коже,
Нежная, красивая была
На закат ты розовый похожа
И, как снег, душиста и светла.

Зерна глаз твоих осыпались, завяли,
Имя тонкое растаяло, как звук,
Но остался в складках смятой шали
Запах меда от невинных рук.

В тихий час, когда заря на крыше,
Как котенок, моет лапкой рот,
Говор кроткий о тебе я слышу
Водяных поющих с ветром сот.

Пусть порой мне шепчет синий вечер,
Что была ты песня и мечта,
Всё ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи,
К светлой тайне приложил уста.

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.

*1915*

## ПЕСНЬ О СОБАКЕ

Утром в ржаном закуте,
Где златятся рогожи в ряд,
Семерых ощенила сука,
Рыжих семерых щенят.

До вечера она их ласкала,
Причесывая языком,
И струился снежок подталый
Под теплым ее животом.

А вечером, когда куры
Обсиживают шесток,
Вышел хозяин хмурый,
Семерых всех поклал в мешок.

По сугробам она бежала,
Поспевая за ним бежать.
И так долго, долго дрожала
Воды незамерзшей гладь.

А когда чуть плелась обратно,
Слизывая пот с боков,
Показался ей месяц над хатой
Одним из ее щенков.

В синюю высь звонко
Глядела она, скуля,
А месяц скользил тонкий
И скрылся за холм в полях.

И глухо, как от подачки,
Когда бросят ей камень в смех,
Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег.

*1915*

За горами, за желтыми долами
Протянулась тропа деревень.
Вижу лес и вечернее полымя
И обвитый крапивой плетень.

Там с утра над церковными главами
Голубеет небесный песок,
И звенит придорожными травами
От озер водяной ветерок.

Не за песни весны над равниною
Дорога мне зеленая ширь,
Полюбил я тоской журавлиною
На высокой горе монастырь.

Каждый вечер, как синь затуманится,
Как повиснет заря на мосту,
Ты идешь, моя бедная странница,
Поклониться любви и кресту.

Кроток дух монастырского жителя,
Жадно слушаешь ты ектенью,
Помолись перед ликом Спасителя
За погибшую душу мою.

*1916*

Я по первому снегу бреду,
В сердце ландыши вспыхнувших сил.
Вечер синею свечкой звезду
Над дорогой моей засветил.

Я не знаю, то свет или мрак?
В чаще ветер поет иль петух?
Может, вместо зимы на полях
Это лебеди сели на луг.

Хороша ты, о, белая гладь!
Греет кровь мою легкий мороз!
Так и хочется к телу прижать
Обнаженные груди берез.

О, лесная, дремучая муть!
О, веселье оснеженных нив!..
Так и хочется руки сомкнуть
Над древесными бедрами ив.

*1917*

Мир таинственный, мир мой древний,
Ты, как ветер, затих и присел.
Вот сдавили за шею деревню
Каменистые руки шоссе.

Так испуганно в снежную выбель
Заметала звенящая жуть.
Здравствуй ты, моя черная гибель,
Я навстречу к тебе выхожу!

Город, город, ты в схватке жестокой
Окрестил нас как падаль и мразь.
Стынет поле в тоске волоокой,
Телеграфными столбами давясь.

Жилист мускул у дьявольской выи,
И легка ей чугунная гать.
Ну, да что же? ведь нам не впервые
И расшатываться и пропадать.

Пусть для сердца тягуче колка
Эта песня звериных прав!..
...Так охотники травят волка,
Зажимая в тиски облав.

Зверь припал... и из пасмурных недр
Кто-то спустит сейчас курки...
Вдруг прыжок... и двуногого недруга
Раздирают на части клыки.

О, привет тебе, зверь мой любимый!
Ты не даром даешься ножу.
Как и ты, я, отвсюду гонимый,
Средь железных врагов прохожу.

Как и ты — я всегда наготове,
И хоть слышу победный рожок,
Но отпробует вражеской крови
Мой последний, смертельный прыжок.

И пускай я на рыхлую выбель
Упаду и зароюсь в снегу...
Все же песню отмщенья за гибель
Пропоют мне на том берегу.

*1921*

* * *

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий! Ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст.
О, моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств.

Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь...
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.

*1921*

Да! Теперь решено. Без возврата
Я покинул родные поля.
Уж не будут листвою крылатой
Надо мною звенеть тополя.

Низкий дом без меня ссутулится,
Старый пес мой давно издох.
На московских изогнутых улицах
Умереть, знать, судил мне Бог.

Я люблю этот город вязевый,
Пусть обрюзг он и пусть одрях,
Золотая дремотная Азия
Опочила на куполах.

А когда ночью светит месяц,
Когда светит... чорт знает как!
Я иду, головою свесясь,
Переулком в знакомый кабак.

Шум и гам в этом логове жутком,
Но всю ночь напролет, до зари,
Я читаю стихи проституткам
И с бандитами жарю спирт.

Сердце бьется все чаще и чаще,
И уж я говорю невпопад:
— Я такой же, как вы, пропащий,
Мне теперь не уйти назад.

Низкий дом без меня ссутулится,
Старый пес мой давно издох.
На московских изогнутых улицах
Умереть, знать, судил мне Бог.

*1922*

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.

Милые березовые чащи.
Ты, земля. И вы, равнин пески.
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть моей тоски.

Слишком я любил на этом свете
Всё, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую водь.

Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил.
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.

Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

Знаю я, что не цветут там чащи,
Не звенит лебяжьей шеей рожь.
Оттого пред сонмом уходящих
Я всегда испытываю дрожь.

Знаю я, что в той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле.
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.

*Июнь 1924*

Этой грусти теперь не рассыпать
Звонким смехом далеких лет.
Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет.

Для меня было всё тогда новым,
Много в сердце теснилось чувств —
А теперь даже нежное слово
Горьким плодом срывается с уст.

И знакомые взору просторы
Уж не так под луной хороши.
Буераки... пеньки... косогоры
Обпечалили русскую ширь.

Нездоровое, хилое, низкое,
Водянистая серая гладь.
Это всё мне родное и близкое,
От чего так легко зарыдать.

Покосившаяся избенка,
Плач овцы, и вдали на ветру
Машет тощим хвостом лошаденка,
Заглядевшись в неласковый пруд.

Это всё, что зовем мы родиной,
Это всё, отчего на ней
Пьют и плачут в одно с непогодиной,
Дожидаясь улыбчивых дней.

Потому никому не рассыпать
Эту грусть смехом ранних лет.
Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет.

*Июль 1924*

Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник —
Пройдет, зайдет и вновь оставит дом.
О всех ушедших грезит конопляник
С широким месяцем над голубым прудом.

Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветер вдаль.
Я полон дум о юности веселой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.

Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.

Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадет трава.
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром разметая,
Сгребет их все в один ненужный ком...
Скажите так... что роща золотая
Отговорила милым языком.

*Август 1924*

## РУСЬ УХОДЯЩАЯ

Мы многое еще не сознаем,
Питомцы ленинской победы,
И песни новые
По-старому поем,
Как нас учили бабушки и деды.

Друзья. Друзья.
Какой раскол в стране,
Какая грусть в кипении веселом.
Знать, оттого так хочется и мне,
Задрав штаны,
Бежать за комсомолом.

Я уходящих в грусти не виню —
Ну, где же старикам
За юношами гнаться.
Они несжатой рожью на корню
Остались догнивать и осыпаться.

И я, я сам —
Ни молодой, ни старый —
Для времени навозом обречен.
Не потому ль кабацкий звон гитары
Мне навевает сладкий сон?

Гитара милая,
Звени, звени!
Сыграй, цыганка, что-нибудь такое,
Чтоб я забыл отравленные дни,
Не знавшие ни ласки, ни покоя.

Советскую я власть виню
И потому я на нее в обиде,
Что юность светлую мою
В борьбе других я не увидел.
Что видел я?

Я видел только бой
Да вместо песен
Слышал канонаду.
Не потому ли с желтой головой
Я по планете бегал до упаду.

Но всё ж я счастлив.
В сонме бурь
Неповторимые я вынес впечатленья.
Вихрь нарядил мою судьбу
В золототканное цветенье.

Я человек не новый!
Что скрывать?
Остался в прошлом я одной ногою,
Стремясь догнать стальную рать,
Скольжу и падаю другою.

Но есть иные люди.
Те
Еще несчастней и забытей,
Они, как отрубь в решете,
Средь непонятных им событий.

Я знаю их
И подсмотрел:
Глаза печальнее коровьих.
Средь человечьих мирных дел,
Как пруд, заплесневела кровь их.

Кто бросит камень в этот пруд?
Не троньте!
Будет запах смрада.
Они в самих себе умрут.
Истлеют падью листопада.

А есть другие люди —
Те, что верят,
Что тянут в будущее робкий взгляд.
Почесывая зад и перед,
Они о новой жизни говорят.

Я слушаю. Я в памяти смотрю,
О чем крестьянская судачит оголь.
— С советской властью жить нам по нутрю...
Теперь бы ситцу... Да гвоздей немного.

Как мало надо этим брадачам,
Чья жизнь в сплошном
Картофеле и хлебе.
Чего же я ругаюсь по ночам
На неудачный, горький жребий?

Я тем завидую,
Кто жизнь провел в бою,
Кто защищал великую идею.
А я, сгубивший молодость свою,
Воспоминаний даже не имею.

Какой скандал!
Какой большой скандал!
Я очутился в узком промежутке.
Ведь я мог дать
Не то, что дал,
Что мне давалось ради шутки.

Гитара милая,
Звени, звени!
Сыграй, цыганка, что-нибудь такое,
Чтоб я забыл отравленные дни,
Не знавшие ни ласки, ни покоя.

Я знаю — грусть не утопить в вине,
Не вылечить души
Пустыней и отколом.
Знать, оттого так хочется и мне,
Задрав штаны,
Бежать за комсомолом.

*Лето 1924*

Я спросил сегодня у менялы,
Что дает за полтумана по рублю:
Как сказать мне для прекрасной Лалы
По-персидски нежное «люблю»?

Я спросил сегодня у менялы
Легче ветра, тише Ванских струй,
Как назвать мне для прекрасной Лалы
Слово ласковое «поцелуй»?

И еще спросил я у менялы,
В сердце робость глубже притая,
Как сказать мне для прекрасной Лалы,
Как сказать ей, что она «моя»?

И ответил мне меняла кратко:
О любви в словах не говорят,
О любви вздыхают лишь украдкой,
Да глаза, как яхонты, горят.

Поцелуй названья не имеет,
Поцелуй не надпись на гробах,
Красной розой поцелуи веют,
Лепестками тая на губах.

От любви не требуют поруки,
С нею знают радость и беду.
«Ты — моя» сказать лишь могут руки,
Что срывали черную чадру.

*Осень 1924*

В Хороссане есть такие двери,
Где обсыпан розами порог.
Там живет задумчивая пери.
В Хороссане есть такие двери,
Но открыть те двери я не мог.

У меня в руках довольно силы,
В волосах есть золото и медь.
Голос пери нежный и красивый.
У меня в руках довольно силы,
Но дверей не смог я отпереть.

Ни к чему в любви моей отвага.
И зачем? Кому мне песни петь?
Если стала неревнивой Шага,
Коль дверей не смог я отпереть,
Ни к чему в любви моей отвага.

Мне пора обратно ехать в Русь.
Персия! Тебя ли покидаю?
Навсегда ль с тобою расстаюсь
Из любви к родимому мне краю?
Мне пора обратно ехать в Русь.

До свиданья, пери, до свиданья.
Пусть не смог я двери отпереть,
Ты дала красивое страданье
Про тебя на родине мне петь.
До свиданья, пери, до свиданья.

*Март 1925*

## ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен!
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.

Голова моя машет ушами,
Как крыльями птица.
Ей на шее ноги
Маячить больше невмочь.
Черный человек,
Черный, черный,
Черный человек
На кровать ко мне садится,
Черный человек
Спать не дает мне всю ночь.

Черный человек
Водит пальцем по мерзкой книге
И, гнусавя надо мной,
Как над усопшим монах,
Читает мне жизнь
Какого-то прохвоста и забулдыги,
Нагоняя на душу тоску и страх.
Черный человек,
Черный, черный!
— Слушай, слушай, —
Бормочет он мне,
В книге много прекраснейших
Мыслей и планов.
Этот человек
Проживал в стране
Самых отвратительных
Громил и шарлатанов.

В декабре в той стране
Снег до дьявола чист,
И метели заводят
Веселые прялки.
Был человек тот авантюрист,
Но самой высокой
И лучшей марки.

Был он изящен,
К тому ж поэт,
Хоть с небольшой,
Но ухватистой силою,
И какую-то женщину,
Сорока с лишним лет,
Называл скверной девочкой
И своею милою.

«Счастье, — говорил он, —
Есть ловкость ума и рук.
Все неловкие души
За несчастных всегда известны.
Это ничего,
Что много мук
Приносят изломанные
И лживые жесты.

В грозы, в бури,
В житейскую стынь,
При тяжелых утратах
И когда тебе грустно,
Казаться улыбчивым и простым —
Самое высшее в мире искусство».

— Черный человек!
Ты не смеешь этого!
Ты ведь не на службе
Живешь водолазовой.

Что мне до жизни
Скандального поэта!
Пожалуйста, другим
Читай и рассказывай».

Черный человек!
Глядит на меня в упор.
И глаза покрываются
Голубой блевотой, —
Словно хочет сказать мне,
Что я жулик и вор,
Так бесстыдно и нагло
Обокравший кого-то.

. . . . . . . . .

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.

Ночь морозная.
Тих покой перекрестка.
Я один у окошка,
Ни гостя, ни друга не жду.
Вся равнина покрыта
Сыпучей и мягкой известкой,
И деревья, как всадники,
Съехались в нашем саду.

Где-то плачет
Ночная зловещая птица.
Деревянные всадники
Сеют копытливый стук.
Вот опять этот черный
На кресло мое садится,

Приподняв свой цилиндр
И откинув небрежно сюртук.

— Слушай, слушай! —
Хрипит он, смотря мне в лицо,
Сам всё ближе
И ближе клонится, —
Я не видел, чтоб кто-нибудь
Из подлецов
Так ненужно и глупо
Страдал бессонницей.

Ах, положим, ошибся!
Ведь нынче луна.
Что же нужно еще
Напоенному дремой мирику?
Может, с толстыми ляжками
Тайно придет «она»,
И ты будешь читать
Свою дохлую томную лирику?

Ах, люблю я поэтов!
Забавный народ.
В них всегда нахожу я
Историю, сердцу знакомую —
Как прыщавой курсистке
Длинноволосый урод
Говорит о мирах,
Половой истекая истомою.

Не знаю, не помню,
В одном селе,
Может, в Калуге,
А может, в Рязани,
Жил мальчик
В простой крестьянской семье,
Желтоволосый,
С голубыми глазами...

И вот стал он взрослым,
К тому ж поэт,
Хоть с небольшой,
Но ухватистой силою.
И какую-то женщину,
Сорока с лишним лет,
Назвал скверной девочкой
И своею милою.
— Черный человек!
Ты прескверный гость.
Эта слава давно
Про тебя разносится.
Я взбешен, разъярен,
И летит моя трость
Прямо к морде его,
В переносицу...
. . . . . . .

...Месяц умер.
Синеет в окошко рассвет.
Ах, ты, ночь!
Что ты, ночь, наковеркала?
Я в цилиндре стою.
Никого со мной нет.
Я один...
И разбитое зеркало...

*14 ноября 1925 г.*

# Виктор (Велемир) Владимирович ХЛЕБНИКОВ

Родился в 1885 г. в селе Тундутове Астраханской губ. в семье попечителя округа. Провел детство сперва на Волыни, потом в Симбирской губ. и в Казани, где кончил гимназию и поступил в университет. В 1906 г. сидел месяц в тюрьме за участие в студенческих беспорядках. В 1908 г. переезжает в Петербург и поступает в университет. Встречается с Каменским и Бурлюками, и в 1909 г. они выпускают футуристический сборник «Садок судей». С 1910 г. начинаются скитания Хлебникова по всей России — полунищего, занятого вычислением фантастических законов времени, с наволочкой, полной постоянно теряемых рукописей. 1916 г. — запасной полк в Царицыне. 1917 — Петербург, потом Москва. 1920 — Харьков, где Хлебников живет в холоде, без света, ходит в лохмотьях, переносит два тифа, не раз арестовывается, принимаемый за шпиона каждой новой властью, и пишет несколько поэм. В 1920 г. встречается с Вяч. Ивановым в Баку. В 1921 вместе с частями красной армии — в Персии. Затем лечится и служит ночным сторожем в Пятигорске, откуда переезжает в Москву. В 1922 г. умирает от последствий голода в деревне Санталово Новгородской губ.

---

Бобэóби пелись губы
Вээóми пелись взоры
Пиээо пелись брови
Лиэээй пелся облик
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило лицо.

*(1912)*

Кому сказатеньки,
Как важно жила барынька,
Нет, не важная барыня,
А, так сказать, лягушечка:
Толста, низка и в сарафане,
И дружбу вела большевитую
С сосновыми князьями.
И зеркальные топила
Обозначили следы,
Где она весной ступила —
Дева ветреной воды.

---

Когда умирают кони — дышат,
Когда умирают травы — сохнут,
Когда умирают солнца — они гаснут,
Когда умирают люди — поют песни.

*(1913)*

В этот день голубых медведей,
Пробежавших по тихим ресницам,
Я провижу за синей водой
В чаше глаз приказанье проснуться.

На серебряной ложке протянутых глаз
Мне протянуто море и на нем буревестник;
И к шумящему морю, вижу, птичая Русь
Меж ресниц пролетит неизвестных.

Но моряной любес опрокинут
Чей-то парус в воде кругло синей,
Но зато в безнадежное канут
Первый гром и путь дальше весенний.

*1918*

## ТРИ СЕСТРЫ

Как воды далеких озер
За темными ветками ивы,
Молчали глаза у сестер,
А все они были красивы.
Одна, зачарована Богом
Старинных людских образов,
Стояла под звездным чертогом
И слушала полночи зов.
А та замолчала навеки
Душой простодушнее дурочки,
Боролися черные веки
С зрачками усталой снегурочки.
Лукавый язык из окошка на птичнике
Прохожего дразнит цыгана,
То, полная песен язычника,
Молчит на вершине кургана.
Она серебристые глины
Любила дикарского тела,
На сене, на стоге овина,
Лежать ей знакомое дело.
И полная неба и лени,
Жует голубые цветы,
И в мертвом засохнувшем сене
Плыла в голубые черты.
Порой, быть одетой устав,
Оденет речную волну,
Учить своей груди устав
Дозволит ветров шалуну.
Она одуванчиком тела
Летит к одуванчику мира,
И сказка ручейная пела,
Глаза человека — секира.
И в пропасть вечернего неба
Смотрели девичьи глаза,

И волосы черного хлеба
От ветра упали назад.
Была точно смуглый зверок,
Где синие блещут глазенки;
Небес синева, как намек,
Блеснет на ресницах теленка.
И волосы — золота темного мед,
Похожи на черного солнца восток,
Как черная бабочка небо сосет
И хоботом узким пьет неба цветок.
И неба священный подсолнух,
То золотом черным, то синим отливом
Блеснет по разметанным волнам,
Проходит, как ветер по нивам.
Идет, как священник, и темной рукой
Дает темным волнам и сон и покой,
То, может быть, Пушкин иль Ленский
По ниве идут деревенской.
И слабая кашка запутает ноги
Случайному гостю сельской дороги.
Другая — окутана сказкой
Умерших событий.
К ней тянутся часто за лаской
Другого дыхания нити.
Она величаво, как мать,
Проходит сквозь призраки вишни
И любит глаза подымать,
Где звезды раскинул Всевышний.
Дрожали лучи поговоркою,
И время столетьями цедится,
И смотрит, задумчиво зоркая,
Как слабо шагает Медведица.
И дышит старинная вольница,
Ушкуйницы гордая стать.
О, строгая ликом раскольница,
Поморов отшельница-мать.
Стонавших радостно черемух

Зовет бушующий костер.
Там в стороне от глаз знакомых
Находишь, дикая, шатер.
И, точно хохот обезьяны,
Взлетели косы выше плеч,
И ветров синие цыганы
Ведут взволнованную речь.
Чтоб мертвецы забыли сны,
Она несет костер весны,
Его накинула на плечи,
Забывши облик человечий.

*1920*

## ИРАНСКАЯ ПЕСНЯ

Как по речке, по Ирану,
По его зеленым струям,
По его глубоким сваям,
Сладкой около воды
Ходят двое чудаков
Да стреляют судаков.
Они целят рыбе в лоб,
Стой, голубушка, стоп!
Они ходят, приговаривают.
Верю, память не соврет.
Уху варят и поваривают.
«Эх, не жизнь, а жестянка!»
Ходит в небе самолет
Братвой облаку удалой,
Где же скатерть-самобранка,
Самолетова жена?
Иль случайно запоздала,
Иль в острог погружена?
Верю сказкам наперед:
Прежде сказки — станут былью,
Но когда дойдет черед,
Мое мясо станет пылью.
И когда знамена оптом
Пронесет толпа, ликуя,
Я проснуся, в землю втоптан,
Пыльным черепом тоскуя.
Или все свои права
Брошу будущему в печку?
Эй, черней, лугов трава!
Каменей навеки, речка!

*1921*

Ручей с холодною водой,
Где я скакал, как бешеный мулла,
Где хорошо.
Чека за сорок верст меня позвала на допрос,
Ослы попадались навстречу.
Всадник к себе завернул.
Мы проскакали верст пять.
«Кушай!» — Всадник чурек отломил золотистый,
Мокрый сыр и кисть голубую вина протянул на ходу:
Гнездо голубых змеиных яиц,
Только нет матери.
Скачем опять, на ходу
Кушая неба дары.
Кони трутся боками, ремнями седла.
Улыбка белеет в губах моего товарища:
«Кушай, товарищ!» — опят на ходу протянулась рука
с кистью глаз моря.
Так мы скакали вдвоем на допрос у подножия гор.
И буйволов сухое молоко хрустело в моем рту,
А после чистое вино в мешочках и золотистая мука.
А рядом лес густой, где древний ствол
Был с головы до ног окутан хмурым хмелем,
Чтоб лишь кабан прошиб его, несясь как пуля.
Чернели пятна от костров, зола белела, кости.
И стадо в тысячи овец порою как потоп,
Руководимо пастухом, бежало нам навстречу,
Черными волнами моря живого.
Вдруг смерклось темное ущелье. Река темнела рядом.
По тысяче камней катила голубое кружево.
И стало вдруг темно, и сетью редких капель
Покрылись сразу мы. То грозное ущелье
Вдруг встало каменною книгой читателя другого,
Открытое для глаз другого мира.
Аул рассыпан был, казались сакли
Буквами нам непонятной речи.
Там камень красный подымался в небо

На полверсты прямою высотой, кем-то читаемой
доныне книгой,
Но я чтеца на небе не заметил,
Хотя, казалось, был он где-то около,
Быть может, он чалмой дождя завернут был.
Служебным долгом внизу река шумела,
И оттеняли высоту деревья-одиночки.
А каменные ведомости последней тьмы тем лет
Красны, не скомканы, стояли.
Окаменелых новостей висели правильно строки.
А через день Чека допрос окончила ненужный,
И я в Баку на поезде уехал.
Овраги, где клубилася река
В мешках внезапной пустоты,
Где сумрак служил небу,
Я узнавал растений храмы
И чины и толпу.
Здесь дикий виноград я рвал,
Все руки исцарапав.
То торга крик? Иль описание любви и нежной
и туманной?
Как пальцы рук над каменной газетой, белели облака
К какому множеству столетий.
И я уехал.
Овраги, где я лазил, мешки русла пустого, где
прятались святилища растений,
И груша старая в саду, на ней цветок богов — омела
раскинула свой город.
Могучее дерево мучая деревней крови другой,
цветами краснея,
Прощайте все!
Прощайте, вечера, когда ночные боги, седые пастухи,
В деревни золотые вели свои стада.
Бежали буйволы, и запах молока вздымался деревом
на небо
И к тучам шел.

Прощайте, черно-синие глаза у буйволиц за черною
решеткою ресниц,
Откуда лились лучи материнства и на теленка и на
людей.

Прощай, ночная темнота,
Когда и темь и буйволы
Одной чернели тучей,
И каждый вечер натыкался я рукой
На их рога крутые.
Кувшин на голове
Печальноооких жен
С медлительной походкой.

*1921*

## ОСЕНЬ

Где опустило солнце осеннее
Свой золотой и теплый посох
И золотые черепа растений
Застряли на утесах,
Реяли сонные тучи осени синей.
По небу ясному мечется иней:
Лишь золотые трупики веток
Мечутся дико и тянутся к людям:
«Не надо делений, не надо меток,
Вы были нами, мы вами будем».
Бьются и вьются,
Сморщены, скрючены,
Ветром осенним дико измучены,
Улиц тянулись кверху уступы.
Черных деревьев голые трупы
Черные волосы бросили нам,
Точно ранним утром, к ногам еще босым,
С лукавым вопросом:
«Вы верите снам?» —
«С тобой буду на ты я».
Сады одевают сны золотые.
Все оголилось. Золото струилось.
Вот дерева призрак колючий:
В нем сотни червонцев блестят.
«Скряга, что же ты?
Пойди и сорви...
Набей кошелек!
Или боишься, что воры
Большие начнут разговоры?»
Грозя убийце лезвием,
Троекратною смутною бритвою
Горбились серые горы.
Дремали здесь мертвые битвы,
С засохшей кровью гнева и ссоры —

Это Бештау грубый, кривой,
В всплесках камней свободней разбоя,
Похожий на запись далекого звука,
На А или У в передаче иглой,
И на кремневые стрелы
Древних охотников лука,
Полон духа земли, облаком белым
Небу грозил боевым лезвием,
Точно оно, слабое горло, нежнее, чем лен,
Он же — кремневый нож
В грубой жесткой руке,
К шее небес устремлен...
Но не смутился небесный объем:
Попрежнему ясно чело.
Как прокаженного крепкие цепи
Бештау связали,
Прибили к долу и степи...
«Бесноватый дикарь — будь вдалеке!»
По небу ходят белые полосы
На записи каменной голоса,
На почерке звука жили пустынники.
В светлом бору, в чаще малинника
Слушать зарянок
И желтых овсянок —
Жилою была горная голоса запись.
Жили старые люди,
Нищие телом, духом — ничьи...
Громкие сверху мчались ручьи.
Кувшины издревле умершего моря
Стояли на страже осенней пустыни.
Я мертвую рыбку заметил в кувшине.
Из моря засохшего,
Ставшего камнем, бревном,
Из мертвого ныне поля для бурь
Напилены доски
Умной пилой человека.
Шероховатые лестниц ступени,

Белые стены на холм вели, туда на пролом,
Где орел крылья развеял высоко и броско,
Точно острые мечи.
Человеческое горе орлы
Обращают в смех и пенье.
Вдали как собаки стерегут Пятигорск
Две верные Жучки: Курган Золотой — Машук
и Дубравный.
Горы мирно лежат, на лапы морды свои положив,
А в городе смотрятся в окна
Писатели, дети, врачи и торговцы.
Это зеленые крыши, как овцы,
Спят мирным сном!
Все мирно. Дым курился.
Ножами золотыми стояли тополя,
И девочка подруге
Кричит задорно «Ля».

*1921*

## НОЧНОЙ ОБЫСК

На изготовку!
Бери винтовку.
Топай, братва:
Направо 38.
Сильнее дергай!
— Есть!
— На изготовку!
Лезь!
— Пожалуйте,
Милости просим!
— Стой, море!
— Врешь, мать
Седая голова,
Ты нас, море, не морочь.
Скинь очки.
Здесь 38?
— Да! милости просим,
Дорогие именинннички! —
Трясется голова,
Едва жива.
— Мать!
Как звать?
Живее веди нас, мамочка!
Почтенная
Мамаша!
Напрасно не волнуйтесь,
Всё будет по хорошему.
Белые звери есть?
— Братишка! Стань у входа.
— Сделано — чердак.
— Годок, сюда!
— Есть!
— Топаем, море,
Закрутим усы!

Ловко прячутся трусы...
Железо засунули,
Налетели небосые,
Расхватали все косые,
Белые не обманули их.

— А ты, мать, живей
Поворачивайся!
И седые люди садятся
На иголку ружья.
А ваши мужья?
Живей неси косые,
Старуха, мне, седому
Морскому волку!
Слышу носом, —
Я носом зорок, —
Слышу верхним чутьем:
Белые звери есть.
Будет добыча.
— Брат, чуешь?
Пахнет белым зверем.
Я зорок.
А ну-ка, гончие-братва!
— Вот сколько есть —
И немного жемчужин.
— Сколько кусков?
— Сорок?
— Хватит на ужин!
Что разговаривать!
Бери, хватай!
Братва, налетай!
И только!
Не бары ведь!
Бери
Сколько влезет.
Мы не цари
Сидеть и грезить.

Братва, налетай, братва, налетай!
Эй, море, налетай! Налетай орлом!
— Даешь?
Давай, сколько влезет!
— Стара, играй польку.
— Что барышня грезит.

*Голос:* Мама, а мама!
— Мать, а мать!
Держи ответ!
Белой сволочи нет?
— Завтра — соберется совет.
А я стара, гость!
Алое, белое,
Белая кость.
Где тут понять?
И белые волосы уже у меня.
Я — мать.

— Птах! Птах!
Выстрел, дым, огонь!
— Куда пострел?
Постой! Оружье, руки вверх!
— В расход его, братва!
— Стань, юноша, у стенки.
Вот так! Вот так!
Волосики русики,
Золотые усики.
— У печки стой, белокурый,
Скидай с себя людские шкуры!
— Гость моря виноват
За промах:
Рука дрожала.
Шалунья пуля.
— Смеется, дерзость или наглость?
Внести в расход? —
— Даешь в лоб, что ли?

Товарищи братва,
Морские гости?
О вас молва: вы — великодушны. —
— Вполне свободно!
Это море может,
Эту милость может
Море оказать!
— Старуха, повернись назад.
— Даем в лоб, что ли,
Белому господину?
— Моему сыну?
— Рубаху снимай, она другому
пригодится,
В могилу можно голяком.
И барышень в могиле — нет.
Штаны долой
И поворачивайся.
И всё долой! Не спи —
Заснуть успеешь. Сейчас заснешь, не
просыпаясь!
— Прощай, мама,
Потуши свечку у меня на столе.
— Годок, унеси барахло. Готовься!
Раз! Два!
— Прощай, дурак! Спасибо
За твой выстрел.
— А так!.. За народное благо.

Трах-та-тах!
Трах!

— Спасибо, а какое:
С голубиное яйцо
Или воробьиное?
Вот тебе и загадка!
Готов голубчик,
Ноги вытянул.

А супчик был хорош
И маска хороша.
Еще два выстрела:
Вот этот в пол,
А этот в Бога!
Вот так! Сюда!
Пошлем его к чертям собачьим.
Мы с летучим морем
За веселыми плечами
Над рубахой белой,
Над рубахой синей,
Увидим — бабахнем!
Штаны у меня широки,
В руке торчит железо,
И не седой бобер,
А море синее
Тугую шею окружило
И белую рубашку.
Богу мать.
— Браток, что его, поднимать?
Нести?
Оставить — некрасиво.
— Плевать! Нам что!
— Мама!
А это что за диво:
И будто семнадцати лет,
А волосы — снег!
А черные глаза
Живые!
— Море приносит с собою снег.
Я в четверть часа поседела.
Если не нравится смотреть на старуху,
Не смотрите, отвернитесь!
Владимир! Володя! Владимир!
Мама! Он голый!
— Барышня!
Трупы холода не знают!
И мертвые сраму не имут.

— Дела! Дела! Вольно!
— Подлец! смеется после смерти!
— А рубашек таких
Я не нашивал — хороша!
И пятен крови нет.
Полотно добротное.
Вошел и руку на плечо.
— Годок! Я гада зарубил!
Лежит на чердаке.
У пулемета.
— Эге-ге!
— Где мать!
— Очень белая барышня,
Так вы побелели
Еще до нашего прихода?
Морского ветра еще и не дуло,
Морем и ветром еще и не пахло,
А здесь уже выпал снег
На чердак и на головы.
Торчало дуло пулеметов
Из-под перины?
Ничего, ничего.
Это ранней весной
Вишневый цвет
Упал вам на голову снегом.
Встряхнитесь, осыпятся листья,
Милая барышня.
Покрывало для гроба
Из цветов хорошее.
— Это и только!
— Браток!
Что ты ее мучаешь?
— А ну-ка,
Милая барышня в белом,
К стенке!
— Этой? Той?
Какой?

Я го-то-ва!
— А ну, к чертям ее.
— Стой!
Довольно крови!
Поворачивайся, кукла!
— Крови? Сегодня крови нет!
Есть жижа, жижа и жижа.
От скотного двора людей
Видишь темнеет лужа?
Это ейного брата
Или мужа.
— Владимир!
— Мама!
— Ты бы сказала «папа»,
Это было бы веселее!
Где он, в бегах?
В орловских рысаках?
Дал рыси и прибавил ходу!
А, может, скаковой любимец?
И обгоняет на скачках?
Ну, кукла, уходи,
Пошла к себе!
Глаз не мозоль!
Здесь будет попойка.
Не плачь, сестрица,
Здесь не место вольным.
У нас есть тоже сестры
В деревнях и лесах,
А не в столицах.
Иди себе спокойно, человек,
Своей дорогой.
— Раз зеркало, я буду бриться!
И время есть.
Криво стекло,
Косая рожа.
Друзья, в окно
Всё это барахло —

Ему здесь быть не гоже.
И сделаем здесь море,
Чтоб волны на просторе.
Да только чайки нет.
А зеркало, его долой —
Бах кулаком!
— Себя окровянил.
Склянка красных чернил это зеркало.
— Вояка с зеркала куском!
Порой жестоки зеркала. Они
Упорно смотрят,
И судей здесь не надо —
Поболее потёмок!
— Годок!
Дай носовой платок!
— Владимир!
Володя!
— Он вымер! Он вымер
Сегодня!
Вымер и вымер!
Тебя не услышит!
Согнутый на полу
Владеет миром.
И не дышит.
— А это что? Господская игра,
Для белой барышни потеха?
Сидит по вечерам
И думает о муже,
Брянчит рукою тихо.
И черная дощечка
За белою звучит
И следует, как ночь
За днем упорно.
Кто играет из братвы?
— А это можем...
Как бахнем ложем...
Аль прикладом...

Глянь, братва,
Топай сюда,
И рокот будет и гром и пение...
И жалоба,
Как будто тихо
Скулит под забором щенок.
Щенок забытый всеми.
И пушек грохот грозный вдруг
подымается,
И чей-то хохот, чей-то смех подводный
и русалочий.
Столпились. Струнный говор,
Струнный хохот, тихий смех.
— Прикладом бах!
Бах прикладом! — Смейся, море!
Море, смейся! Большой кулак бури
Сегодня ходи по ладам...
В окопы неприятеля снарядом... раз!
В землянках светлый Богоматери
праздник,
Где земляки проводят тихо.
Нужду сначала кормят
Белым телом,
А потом червей.
Две смены, две рубашки:
Одна другой тесней.
Одно и то же кушанье двум едокам.
Ишь, зазвенели струны!
Умирать полетели.
Долго будет звенеть
Струнная медь.
— Вдарь еще разок,
Годок!
Гудит, как пчелы,
Когда пчеляк отымет мед.
Бах! Бах!
— Ловко, моряки.

Наше дело морское:
Бей и руши!
Бей и круши!
Ломите, ломайте.
Грабьте и грабьте,
Морские лапти!
Смелей! Не робь!
Не даром пухли,
Чинить найдутся,
А эту рухлядь,
Этот ящик, где воет цуцик,
На мостовую
За окно!
Пугать соседок
Эдак!
— Это дело подходящее.
Море, бурное оно.
Это по-нашенски,
А не по-нищенски.
Вдребезги
Ббаам-паах!
— Нынче море разгулялось,
Море расходилось,
Море разошлось.
Экая сила.
— Никого не задавило?
— Никак нет.
Только трех муравьев,
Вышедших на разведку.
Пылища. Силища!
Где винтовка, детка?
Годок, сними того грача.
— Сейчас!
Тах!
Готов.
Попал?
— Упал.
Мертв.

— А где старуха?
Мать, ты здесь?
Жратвы!
Вина и лососины!
И скатерть белую.
Цветы. Стаканы.
Будет пир, как надо.
Да чтоб живей
И мясо и жаркого,
Не то согнем в подкову!
— Годочки, будем шамать,
Ашать, браточки, кушать.
Жрать.
Сейчас пойдет работа-мама!
И за скулою затрещит.
А всё же пахнет.
От мертвых дух идет.
— Владимир!
— Владимира ей надо — стонет!
А нас забыла, нас не хочет!
Давайте все морочить:
— Мы здесь!
— Я здесь, Оля!
— Я здесь, Нина!
— Я здесь, Верочка!
— Мяу!
— Вот смехота!
Тонким голосом
Кричи по-бабьему.
— Ребята, не балуйтесь
У гроба, у смерти.
— А ловко ты
Прикладом вдарил.
Как оно запоет,
Зазвенит, заиграет и птицей, умирая, полетело.
Аж море в непогоду.
Слушай, там в дверях дощечка:

«Прошу стучать».
Браток поставил «к» — вышло:
«Прошу скучать»
На дверях гроба молодого,
Где сестры мертвого и вдовы.
Ха-ха-ха!
Какое дышло.
— И точно, есть о ком
Скучать той барышне-вдове
С седыми волосами.
Мы, ветер, принесли ей снег.
Ветер моря.
Море так море!
Так, годочки,
Мы пройдем, как смерть
И горе.
С нами море!
С нами море!
Трупы валяются.
Море разливанное,
Море — ноздри рваные,
Да разбойничье.
Беспокойничье.
Аж грозой кумачевое,
Море беспокойничье,
Море Пугачева.
— Я верхним чутьем
Белого зверя услышал.
Олень! Слышу
Пахнет белым!
Как это он бахнет!
За занавеской стоял,
Притаился маменькин сынок.
Дал промах
И смеется.
Я ему: — «Стой, малой!»
А он:
«Даешь в лоб, что ли?»

«Вполне свободно», говорю.
—.Трах-тах-тах!
Да так весело
Тряхнул волосами,
Смеется.
Точно о цене спрашивается,
Торгуется.
Дело торговое,
Дело известное,
Всем один конец,
А двух не бывать.
К Богу мать.
А плевать.
«Вполне свободно», говорю.
«Это можно,
Эту милость может
Море оказать».
— Трах-тах-тах!
— Вот как было:
Стоит малой:
— «Даешь в лоб, что ли?»
«Вполне свободно» —
Отвечаю.
Трах-тах-тах! Дым! И воздух обожгло.
Теперь лежит златоволосый,
Чтоб сестра, рыдая, целовала.
«Киса, моя киса,
Киса золотая».
— Девочка, куда?
Пропуск на кошку!
Стой!
— Годок, постой,
Нет пропуска на кошку.
В окошко!
— Как звать?
— Марусей.
— Мы думали маруха,
Это лучше.

— За стол садитесь, гости.
— Прямая, как сосна,
Старуха держится.
А верно ей сродни Владимир.
Сын. Она угрюма и зловеща.
«Из-под дуба, дуба, дуба!»
Часам к шести.
Налей вина, товарищи,
Чтоб душу отвести!
Пей, море,
Гуляй, море,
Шире, больше!
Плещись!
Чтобы шумело море,
Море разливанное!
«Свадьбу новую справляет
Он веселый и хмельной... и хмельной»...
Вот денечки.
— Садись, братва, за пьянку!
За скатерть-самобранку.
«Из-под дуба, дуба, дуба!»
Садись, братва!
— Курится?
— Петух!
— О, Боже, Боже!
Дай мне закурить.
Моя-тоя потухла.
Погасла мало-мало.
Седой, не куришь — там на небе?
— Молчит.
Себя старик не выдал,
Не вылез из окопа.
Запрятан в облака.
Всё равно. Нам водка море разливанное.
А Богу — облака. Не подеремся.
Вон Бог в углу —
И на груди другой
В терну колючем,

Прикованный к доске, он сделан,
Вытравлен
Порохом синим на коже —
Обычай морей.
А тот свечою курит...
Лучше нашей — восковая!
Да, Он в углу глядит
И курит.
И наблюдает.
На самоварную лучину
Его бы расколоть!
И мелко расщепить.
Уголь лучшего качества!
Даром у Него
Такие темно-синие глаза,
Что хочется влюбиться,
Как в девушку.
И девушек лицо у Бога,
Но только бородатое.
Двумя рядами низко
Струится борода,
Как сумрачный плетень
Овечьих стад у озера,
Как ночью дождь,
Глаза передрассветной синевы
И вещие и тихие
И строги и прекрасны,
И нежные несказанной речью,
И тихо смотрят вниз
Укорной тайной,
На нас, на всю ватагу
Убийц святых,
На нашу пьянку
Убийц святых.
— Смотри, сойдет сюда
И набедокурит.
А встретится, взмахнет ресницами,
И точно зажег зажигалкой.

Темны глаза, как небеса,
И тайна вещая есть в них
И около спокойно дышит.
Озера синей думы!
— Даешь в лоб, что ли?
Даешь мне в лоб, Бог девичий,
Ведь те же семь зарядов у тебя.
С большими синими глазами?
И я скажу спасибо
За письма и привет.
— Море! Море!
Он согласен!
Он взмахнул ресницами,
Как птица крыльями.
Глаза летят мне прямо в душу,
Летят и мчатся, машут и шумят.
И строго, точно казнь,
Он смотрит на меня в упорном холоде!
О ужасе рассказами раскрытые широко,
Как птицы, мчатся на меня
Синие глаза мне прямо в душу.
Как две морские птицы большие, синие
и темные,
В бурю, два буревестника, глашатая
грозы.
И машут и шумят крылами! Летят!
Торопятся!
Насквозь! Насквозь! Ныряют на дно
души.
— Так... Я пьян... И это правда...
Но я хочу, чтоб Он убил меня
Сейчас и здесь над скатертью,
Что с пятнами вина, покрытая стеклом.
— Шатия-братия!
Убийцы святые!
В рубахах белых вы,
Синея полосатым морем,

В штанах широких и тупых внизу
и черных,
И синими крылами на отлете, за гордой
непослушной шеей,
Похожими на зыбь морскую и прибой,
На ветер моря голубой,
И черной ласточки полетом над
затылком,
Над надписью знакомой, судна именем.
О, говор родины морской пловучей
крепости
И имя государства воли!
Шатия-братия,
Бродяги морские!
Ты топаешь тупыми носками
По судну и земле,
И в час беды не знаешь качки,
Хоть не боишься ее в море.
Сегодня выслушай меня:
Хочу убитым пасть на месте,
Чтоб пал огонь смертельный
Из красного угла. —
Оттуда бы темнело дуло.
Чтобы сказать Ему — дурак!
Перед лицом конца.
Как этот мальчик крикнул мне,
Смеясь беспечно
В упор обойме смерти.
Я в жизнь его ворвался и убил,
Как темное ночное божество.
Но побежден его был звонким смехом,
Где стекла юности звенели.
Теперь я Бога победить хочу
Веселым смехом той же силы,
Хоть мрачно мне
Сейчас и тяжко. И трудно мне.
— Бог! я пьян... «Назюзился... наш
дядя»...

«А время на судно идти». — Идем!
— Я пьян, но слушай...
Дай закурим!
И поговорим с Тобою по душам.
Много Ты сделал чудес,
Только лишь не был отцом.
Что там! Я знаю!
Ты девушка, но с бородой.
Ты ходишь в ниве и рвешь цветы,
Плетешь венки
И в воды после смотришься.
Ты синеглазка деревень,
Полей и сёл,
С кудрявою бородкой —
Вот Ты кто.
Девица! Хочешь,
Подарю духи?
А ты назначишь
День свиданья,
И я приду с цветами
Утонченный и бритый,
Томный.
Потом по набережной,
По взморью мы пройдемся.
Под руку,
Как надо?
Давай поцелуемся.
Обнимемся и выпьем на ты.
Иже еси на небеси.
— Братва, погоди,
Не уходи, не бесись!
— Русалка
С туманными могучими глазами,
Пей горькую!
Так.
— Братва!
Мы где увидимся?
В могиле братской?

Я самогона притащу,
Аракой Бога угощу
И созовем туда марух.
На том свете
Я принимаю от трех до шести.
Иди смелее:
Боятся дети,
А мы уж юности прости.
Потом святого вдрызг напоим,
Одесса-мама запоем.
О боги, боги, дайте закурить!
О чем же дальше говорить?
Пей, дядько, там в углу!
Ай!
Он шевелит устами
И слово произнес... из рыбьей речи.
Он вымолвил слово, страшное слово,
Он вымолвил слово,
И это слово, о, братья,
«Пожар!»
— Ты пьян? Нет, пьяны мы.
— До свидания на том свете.
— Даешь в лоб, что ли?
. . . . . . . . . . . . . .
— Старуха! Ведьма хитрая!
— Ты подожгла.
Горим! Спасите! Дым!
А я доволен и спокоен.
Стою, кручу усы и всё как надо.
Спаситель! Ты дурак.
— Дает! Старшой, дает!
В приклады.
Дверь железная!
Стреляться?
Задыхаться?

*Старуха:* Как хотите!
*(показываясь)*

*7-11 ноября 1921*

# Владимир Владимирович МАЯКОВСКИЙ

Родился в 1894 г. в селе Багдады, Кутаисской губ., в семье лесничего. Гимназии не окончил. Учился в Москве в Училище Живописи, Ваяния и Зодчества, откуда исключен за левость художественных взглядов. В 1911 встретился с Бурлюками, вместе с которыми начинает течение кубо-футуризма. Печататься начал в 1912 г. Много путешествовал по России, пропагандируя футуристические идеи. 1915 — поэма «Облако в штанах», 1916 — поэма «Война и мир» и книга стихов «Простое, как мычание», 1917 — поэма «Человек». В годы военного коммунизма работал в РОСТА, писал плакаты. 1918 — пьеса «Мистерия-буфф». Три раза был заграницей, в Европе и в Америке. В 1923 г. основал журнал «ЛЕФ», который редактировал до 1925 г. В последние годы жизни подвергался многочисленным нападкам за индивидуализм и формализм. С 1926 г. пишет стихи для газет. 1927 — поэма «Хорошо!». 1928 — пьеса «Клоп». В 1930 г. застрелился у себя на квартире в Москве.

## А ВЫ МОГЛИ БЫ?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

*1913*

## СКРИПКА И НЕМНОЖКО НЕРВНО

Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала
«Что это?»
«Как это?»
А когда геликон —
меднорожий,
потный,
крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри!» —
Я встал,
шатаясь полез через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикнул:
«Боже!»
Бросился на деревянную шею.
«Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
Я вот тоже

ору —
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются:
«Влип как!
Пришел к деревянной невесте!
Голова!»
А мне — наплевать!
Я — хороший.
«Знаете, что, скрипка?
давайте —
будем жить вместе!
А?»

*1914*

## ВОЙНА ОБЪЯВЛЕНА

«Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
И на площадь, мрачно очерченную чернью,
багровой крови пролилась струя!

Морду в кровь разбила кофейня,
зверьим криком багрима:
«Отравим кровью игры Рейна!
Громами ядер на мрамор Рима!»

С неба, изодранного о штыков жала,
слезы звезд просеивались, как мукá в сите,
и подошвами сжатая жалость визжала:
«Ах, пустите, пустите, пустите!»

Бронзовые генералы на граненом цоколе
молили: «Раскуйте, и мы поедем!»
Прощающейся конницы поцелуи цокали,
и пехоте хотелось к убийце-победе.

Громоздящемуся городу урóдился во сне
хохочущий голос пушечного баса,
а с запада падает красный снег
сочными клочьями человечьего мяса.

Вздувается у площади за ротой рота,
у злящейся на лбу вздуваются вены.
«Постойте, шашки о шелк кокоток
вытрем, вытрем в бульварах Вены!»

Газетчики надрывались: «Купите вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
А из ночи, мрачно очерченной чернью,
багровой крови лилась и лилась струя.

*1914*

## КОЕ-ЧТО ПО ПОВОДУ ДИРИЖЕРА

В ресторане было от электричества рыжó.
Кресла облиты в дамскую мякоть.
Когда обиженный выбежал дирижер,
приказал музыкантам плакать.

И сразу тому, который в бороду
толстую семгу вкусно нес,
труба — изловчившись — в сытую морду
ударила горстью медных слез.

Еще не успел он, между икотами,
выпихнуть крик в золотую челюсть,
его избитые тромбонами и фаготами
смяли и скакали через.

Когда последний не дополз до двери,
умер щекою в соусе,
приказав музыкантам выть по-зверьи, —
дирижер обезумел вовсе!

В самые зубы туше опоенной
втиснул трубу, как медный калач,
дул и слушал — раздутым удвоенный,
мечется в брюхе плач.

Когда на утро, от злобы не евший,
хозяин принес расчет,
дирижер на люстре уже посиневший
висел и синел еще.

*1915*

## ФЛЕЙТА — ПОЗВОНОЧНИК

### *Пролог*

За всех вас,
которые нравились или нравятся,
хранимых иконами у души в пещере,
как чашу вина в застольной здравице,
подъемлю стихами наполненный череп.

Всё чаще думаю —
не поставить ли лучше
точку пули в своем конце.
Сегодня я
на всякий случай
даю прощальный концерт.

Память!
Собери у мозга в зале
любимых неисчерпаемые очереди.
Смех из глаз в глаза лей.
Былыми свадьбами ночь ряди.
Из тела в тело веселье лейте.
Пусть не забудется ночь никем.
Я сегодня буду играть на флейте.
На собственном позвоночнике.

### 1

Версты улиц взмахами шагов мну.
Куда уйду я, этот ад тая!
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?!
Буре веселья улицы у́зки.
Праздник нарядных черпал и черпал.
Думаю.
Мысли, крови сгустки
больные и запекшиеся, лезут из черепа.

Мне,
чудотворцу всего, что празднично,
самому на праздник выйти не с кем.
Возьму сейчас и грохнусь навзничь
и голову вымозжу каменным Невским!
Вот я богохулил.
Орал, что Бога нет,
А Бог такую из пекловых глубин,
что перед ней гора заволнуется и дрогнет,
вывел и велел
люби!

Бог доволен.
Под небом в круче
измученный человек одичал и вымер.
Бог потирает ладони ручек.
Думает Бог:
погоди, Владимир!
Это Ему, Ему же,
чтоб не догадался, кто ты,
выдумалось дать тебе настоящего мужа
и на рояль положить человечьи ноты.
Если вдруг подкрасться к двери спа́ленной,
перекрестить над вами стеганье одеялово,
знаю —
запахнет шерстью паленной,
и серой издымится мясо дьявола.

А я вместо этого до утра раннего
в ужасе, что тебя любить увели,
метался
и крики в строчки выгранивал,
уже наполовину сумасшедший ювелир.
В карты б играть!
В вино
выполоскать горло сердцу изоханному.

Не надо тебя!
Не хочу!
Всё равно
я знаю,
я скоро сдохну.

Если правда, что есть Ты,
Боже,
Боже мой,
если звезд ковер Тобою выткан,
если этой боли,
ежедневно множимой,
Тобой ниспослана, Господи, пытка,
судейскую цепь надень.
Жди моего визита.
Я аккуратный,
не замедлю ни на день.
Слушай,
Всевышний инквизитор!

Рот зажму.
Крик ни один им
не выпущу из искусанных губ я.
Привяжи меня к кометам, как хвостам лошадиным,
и вымчи,
рвя о звездные зубья.
Или вот что:
Когда душа моя выселится
выйдет на суд Твой,
выхмурясь тупенько,
Ты,
млечный путь перекинув виселицей,
возьми и вздерни меня, преступника.
Делай, что хочешь.
Хочешь, четвертуй.
Я сам Тебе, Праведный, руки вымою.

Только —
слышишь! —
убери проклятую ту,
которую сделал моей любимою!

Версты улиц взмахами шагов мну.
Куда я денусь, этот ад тая!
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?!

2

И небо,
в дымах забывшее, что голубо́,
и тучи, ободранные беженцы точно,
вызарю в мою последнюю любовь,
яркую, как румянец у чахоточного.

Радостью покрою рев
скопа
забывших о доме и уюте.
Люди,
слушайте!
Вылезьте из окопов.
После довоюете.

Даже если,
от крови качающийся как Бахус
пьяный бой идет, —
слова любви и тогда не ветхи.
Милые немцы!
Я знаю,
на губах у вас
гётевская Гретхен.

Француз
улыбаясь на штыке мрет,
с улыбкой разбивается подстреленный авиатор,
если вспомнят
в поцелуе рот
твой, Травиата.

Но мне не до розовой мякоти,
которую столетия выжуют.
Сегодня к новым ногам лягте!
Тебя пою,
накрашенную,
рыжую.

Может быть, от дней этих,
жутких, как штыков острия,
когда столетия выбелят бороду,
останемся только
ты
и я,
бросающийся за тобой от города к городу.

Будешь зá море отдáна,
спрячешься у ночи в норе, —
я в тебя вцелую сквозь туманы Лондона
огненные губы фонарей.

В зное пустыни вытянешь караваны,
где львы на-чеку, —
тебе
под пылью, ветром рваной,
положу Сахарой горящую щеку.

Улыбку в губы вложи́шь
смотришь —
тореадор хорош как!
И вдруг я

ревность метну в ложи
мрущим глазом быка.

Вынесешь нá мост шаг рассеянный —
думать
хорошо внизу бы.
Это я
под мостом разлился Сеной,
зову,
скалю гнилые зубы.

С другим зажгешь в огне рысаков
Стрелку или Сокольники.
Это я, взобравшись туда высоко,
луной томлю, ждущий и голенький.

Сильный,
понадоблюсь им я —
велят:
себя на войне убей!
Последним будет
твое имя,
запекшееся на выдранной ядром губе.

Короной кончу?
Святой Еленой?
Буре жизни оседлав валы,
я — равный кандидат
и на царя вселенной
и на
кандалы.

Быть царем назначено мне, —
твое личико
на солнечном золоте моих монет
велю народу:
вычекань!

А там,
где тундрой мир вылинял,
где с северным ветром ведет река торги, —
на цепь нацарапаю имя Лилино
и цепь исцелую во мраке каторги.
Слушайте ж, забывшие, что небо голубо́,
выщетинившиеся,
звери точно.
Это, может быть,
последняя в мире любовь
вызарилась румянцем чахоточного.

3

Забуду год, день, число.
Запрусь одинокий с листом бумаги я.
Творись, просветленных страданием слов
нечеловечья магия!

Сегодня только вошел к вам,
почувствовал —
в доме неладно.
Ты что-то таила в шелковом платье,
и ширился в воздухе запах ладана.
Рада?
Холодное
«очень».
Смятеньем разбита разума ограда.
Я отчаянье громозжу, горящ и лихорадочен.

Послушай,
всё равно
не спрячешь трупа.
Страшное слово на голову лавь.
Всё равно
твой каждый мускул

как в рупор
трубит:
умерла, умерла, умерла!
Нет,
ответь
Не лги!
(Как я такой уйду назад?)

Ямами двух могил
вырылись в лице твоем глаза.

Могилы глубятся.
Нету дна там.
Кажется,
рухну с помоста дней.
Я душу над пропастью натянул канатом,
жонглируя словами, закачался над ней.

Знаю,
любовь его износила уже.
Скуку угадываю по стольким признакам.
Вымолоди себя в моей душе.
Празднику тела сердце вызнакомь.

Знаю,
каждый за женщину платит.
Ничего,
если пока
тебя вместо шика парижских платьев
одену в дым табака.

Любовь мою,
как апостол во время оно,
по тысяче тысяч разнесу дорог.
Тебе в веках уготована корона,
а в короне слова мои —
радугой судорог.

Как слоны стопудовыми играми
завершали победу Пиррову,
я поступью гения мозг твой выгромил.
Напрасно.
Тебя не вырву.

Радуйся,
радуйся,
ты доканала
теперь!
Такая тоска,
что только б добежать до канала
и голову сунуть воде в оскал.

Губы дала.
Как ты груба ими.
Прикоснулся и остыл.
Будто целую покаянными губами
в холодных скалах высеченный монастырь.

Захлопали
двери.
Вошел он,
весельем улиц орошен.
Я
как надвое раскололся в вопле.
Крикнул ему:
«Хорошо,
уйду,
хорошо!

Твоя останется.
Тряпок нашéй ей,
робкие крылья в шелках зажирели б.
Смотри, не уплыла б.
Камнем на шее
навесь жене жемчуга ожерелий!»

Ох, эта
ночь!
Отчаянье стягивал туже и туже сам.
От плача моего и хохота
морда комнаты выкосилась ужасом.

И видением вставал унесенный от тебя лик,
глазами вызарила ты на костре его,
будто вымечтал какой-то новый Бялик
ослепительную царицу Сиона евреева.

В муке
перед той, которую отдал,
коленопреклоненный выник,
Король Альберт,
все города
отдавший,
рядом со мной задаренный именинник.

Вызолачивайтесь в солнце, цветы и травы!
Весеньтесь, жизни всех стихий!
Я хочу одной отравы —
пить и пить стихи.

Сердце обокравшая,
всего его лишив,
вымучившая душу в бреду мою,
прими мой дар, дорогая,
больше я, может быть, ничего не придумаю.

В праздник красьте сегодняшнее число.
Творись,
распятью равная магия.
Видите —
гвоздями слов
прибит к бумаге я.

*1915*

## ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ

Били копыта.
Пели будто:
— Гриб.
Грабь,
Гроб.
Груб. —
Ветром опита,
льдом обута
улица скользила.
Лошадь на круп
грохнулась,
и сразу
за зевакой зевака,
штаны пришедшие Кузнецким клешить,
сгрудились,
смех зазвенел и зазвякал:
— Лошадь упала! —
— Упала лошадь! —
Смеялся Кузнецкий.
Лишь один я
голос свой не вмешивал в вой ему.
Подошел
и вижу
глаза лошадиные...
Улица опрокинулась,
течет по-своему...
Подошел и вижу —
за каплищей каплища
по морде катится,
прячется в ше́рсти...
И какая-то общая
звериная тоска
плеща вылилась из меня
и расплылась в шелесте.

«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».
Может быть
— старая —
и не нуждалась в няньке,
может быть, и мысль ей моя показалась пошлá,
только
лошадь
рванулась,
встала на ноги,
ржанула
и пошла.
Хвостом помахивала.
Рыжий ребенок.
Пришла веселая,
стала в стойло.
И всё ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.

*1918*

## ОТНОШЕНИЕ К БАРЫШНЕ

Этот вечер решал —
не в любовники выйти ль нам? —
Темно,
никто не увидит нас.
Я наклонился действительно,
и действительно
я,
наклонясь,
сказал ей,
как добрый родитель:
«Страсти крут обрыв —
будьте добры,
отойдите.
Отойдите,
будьте добры».

*1920*

## ПРО ЭТО (конец)

*Только б не ты*

Стою у стенки.
                    Я не я.
Пусть бредом жизнь смололась.
Но только б, только б не ея
невыносимый голос!
Я день,
        я год обыденщине пре́дал,
я сам задыхался от этого бреда.
Он
    жизнь дымком квартирошным выел.
Звал:
        решись
                с этажей
                        в мостовые!
Я бегал от зова разинутых окон,
любя убегал —
                пускай однобоко,
пусть лишь стихом,
                    лишь шагами ноч-
                                    ными, —
строчишь,
        и становятся души строчными,
и любишь стихом,
                а в прозе немею.
Ну вот, не могу сказать,
                        не умею.
Но где, любимая,
                где, моя милая,
где
    — в песне! —
                любви моей изменил я?
Здесь
        каждый звук,
                    чтоб признаться,
                            чтоб кликнуть.

А только из песни — ни слова не выкинуть.
Вбегу на трель,
на гаммы.
В упор глазами
в цель!
Гордясь двумя ногами, —
Ни с места! — крикну. —
Цел!
Скажу:
— Смотри,
даже здесь, дорогая,
стихами громя обыденщины жуть,
имя любимое оберегая,
тебя
в проклятьях моих
обхожу.
Приди,
разотзовись на стих.
Я, всех оббегав, — тут.
Теперь лишь ты могла б спасти.
Вставай!
Бежим к мосту! —
Быком на бойне
под удар
башку мою нагнул.
Сборю себя,
пойду туда.
Секунда —
и шагну.

*Шагание стиха*

Последняя самая эта секунда,
секунда эта
стала началом,
началом

невероятного гуда.*)
Весь север гудел.
Гудения мало.
По дрожи воздушной,
по колебанью
догадываюсь —
оно над Любанью.
По холоду,
по хлопанью дверью
догадываюсь —
оно над Тверью.
По шуму —
настежь окна раскинул —
догадываюсь —
кинулся к Клину.
Теперь грозой Разумовское за́лил.
На Николаевском теперь
на вокзале.
Всего дыхание одно,
а под ногой
ступени
пошли,
поплыли ходуном,
вздымаясь в невской пене.
Ужас дошел.
В мозгу уже весь.
Натягивая нервов строй,
разгуживаясь всё и разгуживаясь,
взорвался,
пригвоздил:
— Стой!

---

*) **Примечание составителя:** Мысли поэта, затравленного ревностью и окружающим бытом, вызывают к жизни образы из написанной семь лет тому назад поэмы «Человек». В этом отрывке Нева с мостом и прикованным к нему двойником поэта приходит из Петрограда поэмы «Человек» в Москву поэмы «Про это».

Я пришел из-за семи лет,
из-за верст шести ста,
пришел приказать:
Нет!
Пришел повелеть: Оставь!
Оставь!
Не надо
ни слова,
ни просьбы.
Что толку —
тебе
одному
удалось бы?!
Жду,
чтоб землей обезлюбленной
вместе,
чтоб всей
мировой
человечьей гущей.
Семь лет стою,
буду и двести
стоять пригвожденный,
этого ждущий.
У лет на мосту
на презренье,
на смéх,
земной любви искупителем значась,
должен стоять,
стою за всех,
за всех расплачусь,
за всех расплáчусь. —

*Ротонда*

Стены в тустепе ломались нá три,
на четверть тона ломались,
на стó...
Я, стариком,
на каком-то Монмартре

лезу —
стотысячный случай —
на стол.
Давно посетителям осточертело.
Знают заранее
всё, как по нотам:
буду звать
(новое дело!)
куда-то идти,
спасать кого-то.
В извинение пьяной нагрузки
хозяин гостям объясняет:
русский!
Женщины —
мяса и тряпок вя́занки —
смеются,
стащить стараются за́ ноги:
«Не пойдем.
Дудки!
Мы — проститутки».
Быть Сены полосе б Невой!
Грядущих лет брызго́й
хожу́ по мгле по Се́новой,
всей нынчести изгой.
Саже́нный,
обсмеянный,
са́женный,
битый,
в бульварах
ору через каски военщины:
— Под красное знамя!
Шагайте!
По быту!
Сквозь мозг мужчины!
Сквозь сердце жен-
щины! —

Сегодня
          гнали
                    в особенном раже.
Ну и жара же!

***Полусмерть***

Надо
        немного обветрить лоб.
Пойду,
          пойду, куда ни вело б.
Внизу свистят сержанты-трельщики.
Тело
        с панели
                    уносят метельщики.
Рассвет.
          Подымаюсь сенскою сенью,
синематографской серой тенью.
Вот —
          гимназистом смотрел их
                                        с парты —
мелькают сбоку Франции карты.
Воспоминаний последним током
тащился прощаться
                              к странам Востока.

***Случайная станция***

С разлету рванулся —
                              и стал
                                        и нá мель.
Лохмотья мои зацепились штанами.
Ощупал —
            скользко,
                          луковка точно.
Большое очень.
                    Испозолочено.
Под луковкой
                    колоколов завыванье.
Вечер зубцы стенные выкаймил.
На Иване я

Великом.
Вышки кремлевские пиками.
Московские окна
видятся еле.
Весело.
Елками зарождествели.
В ущелья кремлевы волна ударяла:
то песня,
то звона рождественский вал.
С семи холмов,
низвергаясь Дарьялом,
бросала Тереком
праздник
Москва.
Вздымается волос.
Лягушкою тужусь.
Боюсь —
оступлюсь на одну только пядь,
и этот
старый
рождественский ужас
меня
по Мясницкой закружит опять.

*Повторение пройденного*

Руки крестом,
крестом
на вершине,
ловлю равновесие,
страшно машу.
Густеет ночь,
не вижу в аршине.
Луна.
Подо мною
льдистый Машук.
Никак не справлюсь с моим равновесием,
как будто с Вербы —
руками картонными.

Заметят.
Отсюда виден весь я.
Смотрите —
Кавказ кишит Пинкертонами.
Заметили.
Всем сообщили сигналом.
Любимых
друзей
человечьи ленты
со всей вселенной сигналом согнало.
Спешат рассчитаться,
идут дуэлянты.
Щетинясь,
щерясь
еще и еще там...
Плюют на ладони.
Ладонями сочными,
руками,
ветром,
нещадно,
без счета
в мочалку щеку истрепали пощечинами.
Пассажи —
перчаточных лавок початки,
дамы,
духи развевая паточные,
снимали,
в лицо швыряли перчатки,
швырялись в лицо магазины перчаточные.
Газеты,
журналы,
зря не глазейте!
На помощь летящим в морду вещам
ругней
за газетиной взвейся газетина.
Слухом в ухо!
Хватай, клевеща!

И так я калека в любовном боленьи.
Для ваших оставьте помоев ушат.
Я вам не мешаю.
К чему оскорбленья!
Я только стих,
я только душа.
А снизу:
— Нет!
Ты враг наш столетний.
Один уж такой попался —
гусар!
Понюхай порох,
свинец пистолетный.
Рубаху в распашку!
Не празднуй труса!

*Последняя смерть*

Хлеще ливня,
грома бодрей,
бровь к брови,
ровненько
со всех винтовок,
со всех батарей,
с каждого маузера и браунинга
с сотни шагов,
с десяти,
с двух,
в упор —
за зарядом заряд.
Станут, чтоб перевесть дух,
и снова свинцом сорят.
Конец ему!
В сердце свинец!
Чтоб не было даже дрожи!
В конце концов —
всему конец.
Дрожи конец тоже.

*То, что осталось*

Окончилась бойня.
Веселье клокочет.
Смакуя детали, разлезлись шажком.
Лишь на Кремле
поэтовы клочья
сияли по ветру красным флажком.
Да небо
попрежнему
лирикой звéздится.
Глядит
в удивленьи небесная звездь —
затрубадурúла Большая Медведица.
Зачем?
В королевы поэтов пролезть?
Большая,
неси по векам-Араратам
сквозь небо потопа
ковчегом ковшом!
С борта
звездóлетом
медведьинским
братом
горланю стихи мирозданию в шум.
Скоро!
Скоро!
Скоро!
В пространство!
Пристальней!
Солнце блестит горы.
Дни улыбаются с пристани.

**Прошение на имя...**

*(ПРОШУ ВАС, ТОВАРИЩ ХИМИК, ЗАПОЛНИТЕ САМИ!)*

Пристает ковчег.
Сюда лучами!
Пристань.
Эй!

Кидай канат ко мне!
И сейчас же
ощутил плечами
тяжесть подоконничьих камней.
Солнце
ночь потопа высушило жаром.
У окна
в жару встречаю день я.
Только с глобуса — гора Килиманджаро.
Только с карты африканской — Кения.
Голой головою глобус.
Я над глобусом
от горя горблюсь.
Мир
хотел бы
в этой груде го́ря
настоящие облапить груди горы.
Чтобы с полюсов
по всем жильям
лаву раскатил, горящ и каменист,
так хотел бы разрыдаться я,
медведь-коммунист.
Столбовой отец мой
дворянин,
кожа на моих руках тонка.
Может,
я стихами выхлебаю дни,
и не увидав токарного станка.
Но дыханием моим,
сердцебиеньем,
голосом,
каждым острием издыбленного в ужас
волоса,
дырами ноздрей,
гвоздями глаз,
зубом, искрежещенным в звериный лязг,

ёжью кожи,
гнева брови сборами,
триллионом пор,
дословно —
всеми
порами
в осень,
в зиму,
в весну,
в лето,
в день,
в сон
не приемлю,
ненавижу это
всё.
Всё,
что в нас
ушедшим рабьим вбито,
всё,
что мелочинным роем
оседало
и осело бытом
даже в нашем
краснофлагом строе.
Я не доставлю радости
видеть,
что сам от заряда стих.
За мной не скоро потянете
об упокой его душу таланте.
Меня
из-за угла
ножом можно.
Дантесам в мой не целить лоб.
Четырежды состарюсь — четырежды
омоложенный,
до гроба добраться чтоб.

Где б ни умер,
умру поя.
В какой трущобе ни лягу,
знаю —
достоин лежать я
с легшими под красным флагом.
Но за что ни лечь —
смерть есть смерть.
Страшно — не любить,
ужас — не сметь.
За всех — пуля,
за всех — нож.
А мне когда?
А мне-то что ж?
В детстве, может,
на самом дне,
десять найду
сносных дней.
А то, что другим!
Для меня б этого!
Этого нет.
Видите —
нет его!
Верить бы в загробь!
Легко прогулку
пробную.
Стоит
только руку протянуть —
пуля
мигом
в жизнь загробную
начертит гремящий путь.
Что мне делать,
если я
во-всю,
всей сердечной мерою,
в жизнь сию,

сей
    мир
        верил,
            верую.

*Вера*

Пусть во что хотите жданья удлинятся —
вижу ясно,
ясно до галлюцинаций.
До того,
что кажется —
вот только
с рифмой развяжись,
и вбежишь
по строчке
в изумительную
жизнь.
Мне ли спрашивать —
да эта ли?
Да та ли?!
Вижу,
вижу ясно, до деталей.
воздух в воздух,
будто камень в камень,
недоступная для тленов и крошений,
рассиявшись,
высится веками
мастерская человечьих воскрешений.
Вот он,
большелобый
тихий химик,
перед опытом наморщил лоб.
Книга —
«вся земля» —
выискивает имя.
Век XX-ый.
Воскресить кого б?

— Маяковский вот...
Поищем ярче лица, —
недостаточно поэт красив. —
Крикну я
вот с этой,
с нынешней страницы:
— Не листай страницы!
– Воскреси!

*Надежда*

Сердце мне вложи!
кровищу —
до последних жил.
В череп мысль вдолби!
Я свое земное не дожи́л,
на земле —
свое не долюбил.
Был я сажень ростом.
А на что мне сажень?
Для таких работ годна и тля.
Перышком скрипел я, в комнатенку всажен,
вплющился очками в комнатный футляр.
Что хотите, буду делать даром —
чистить,
мыть,
стеречь,
мотаться,
месть.
Я могу служить у вас
хотя б швейцаром.
Швейцары у вас есть?
Был я весел —
толк веселым есть ли,
если горе наше непролазно?
Нынче
обнажают зубы если,

только чтоб хватить,
чтоб лязгнуть.
Мало ль что бывает —
тяжесть
или горе...
Позовите!
Пригодится шутка дурья.
Я шарадами гипербол,
аллегорий
буду развлекать,
стихами балагуря.
Я любил...
Не стоит в старом рыться.
Больно?
Пусть...
Живешь и болью дорожась.
Я зверье еще люблю —
у вас
зверинцы
есть?
Пустите к зверю в сторожа.
Я люблю зверье.
Увидишь собачонку —
тут у булочной одна —
сплошная
плешь, —
из себя
и то готов достать печонку.
Мне не жалко, дорогая,
ешь!

*Любовь* Может,
может быть,
когда-нибудь дорож-
кой зоологических аллей

и она —
она зверей любила —
тоже ступит в сад
Улыбаясь,
вот такая,
как на карточке в столе.
Она красивая —
ее, наверно, воскресят.
Ваш
тридцатый век
обгонит стаи
сердце раздиравших мелочей.
Нынче недолюбленное
наверстаем
звездностью бесчисленных ночей.
Воскреси
хотя б за то,
что я
поэтом
ждал тебя,
откинул будничную чушь!
Воскреси меня
хотя б за это!
Воскреси —
свое дожить хочу!
Чтоб не было любви — служанки
замужеств,
похоти,
хлебов.
Постели прокляв,
встав с лежанки,
чтоб всей вселенной шла любовь.
Чтоб день,
который горем старящ,
не христараднichать, моля.

Чтоб вся
на первый крик: -
— Товарищ! —
оборачивалась земля.
Чтоб жить
не в жертву дома дырам.
Чтоб мог
в родне
отныне
стать
отец —
по крайней мере, миром,
землей, по крайней мере, — мать.

*1923*

## МЕЛКАЯ ФИЛОСОФИЯ НА ГЛУБОКИХ МЕСТАХ

Превращусь
не в Толстого, так в толстого —
ем,
пишу,
от жары балда.
Кто над морем не философствовал?
Вода.

Вчера
океан был злой,
как чорт,
сегодня
смиренней
голубицы на яйцах.
Какая разница!
Всё течет...
Всё меняется.

Есть
у воды
своя пора:
часы прилива,
часы отлива.
А у Стеклова
вода
не сходила с пера.
Несправедливо.

Дохлая рыбка
плывет одна.
Висят
плавнички
как подбитые крылышки.
Плывет недели,
и нет ей —
ни дна,
ни покрышки.

Навстречу
медленней, чем тело тюленье,
пароход из Мексики,
а мы —
туда.
Иначе и нельзя.
Разделение
труда.

Это кит — говорят.
Возможно и так.
Вроде рыбьего Бедного —
обхвата в три.
Только у Демьяна усы наружу,
а у кита
внутри.

Годы — чайки.
Вылетят в ряд —
и в воду —
брюшко рыбешкой пичкать.
Скрылись чайки.
В сущности говоря,
где птички?

Я родился,
рос,
кормили соскою, —
жил,
работал,
стал староват...
Вот и жизнь пройдет
как прошли Азорские
острова.

*1925*

## ПРОЩАНЬЕ

В авто,
последний франк разменяв:
— В котором часу на Марсель? —
Париж
бежит,
провожая меня,
во всей
невозможной красе.
Подступай
к глазам,
разлуки жижа,
сердце
мне
сентиментальностью расквась!
Я хотел бы
жить
и умереть в Париже,
если б не было
такой земли —
Москва.

*1925*

## ХОРОШО! (7-я глава, начало)

В такие ночи,
              в такие дни,
в часы
          такой поры
на улицах
              разве что
                          одни
поэты
        и воры́.
Сумрак
          на мир
                  океан катнул.
Синь.
        Над кострами —
                          бур.
Подводной лодкой
                      пошел ко дну
взорванный
              Петербу́рг.
И лишь
          когда
                  от горящих вихров
шатался
          сумрак бурый,
опять вспоминалось:
                        с боков
                                и с верхов
непрерывная буря.
На воду
          сумрак
                  похож и так, —
бездонна
          синяя прорва.

А тут
　　　еще
　　　　　　и виденьем кита
туша
　　　Авророва.
Огонь
　　　пулеметный
　　　　　　　　площадь остриг.
Набережные —
　　　　　　пусты́.
И лишь
　　　хорохорятся
　　　　　　　　костры
в сумерках
　　　　густых.
И здесь,
　　　где земля
　　　　　　　от жары вязка́,
с испугу
　　　или со льда,
ладони
　　　держа
　　　　　　у огня в языках,
греется
　　　солдат.
Солдату
　　　упал
　　　　　　огонь на глаза,
на клок
　　　волос
　　　　　　лег.
Я узнал,
　　　удивился,
　　　　　　　сказал:
«Здравствуйте,
　　　　　　Александр Блок.

Лафа футуристам,
фрак старья
разлазится
каждым швом».
Блок посмотрел —
костры горят —
«Очень хорошо».
Кругом
тонула
Россия Блока...
Незнакомки,
дымки севера
шли
на дно,
как идут
обломки
и жестянки
консервов...

*1927*

## ХОРОШО! (13-я глава)

Двенадцать
квадратных аршин жилья.
Четверо
в помещении —
Лиля,
Ося,
я
и собака
Щеник.
Шапчонку
взял
оборванную
и вытащил салазки.
— Куда идешь?
— В уборную
иду,
на Ярославский. —
Как парус,
шуба
на весу,
воняет
козлом она.
В санях
полено везу,
забрал
забор разломанный.
Полено —
тушею,
тверже камня.
Как будто
вспухшее
колено
великанье.

Вхожу
с бревном в обнимку.
Запотел,
вымок.
Важно
и чинно
строгаю перочинным.
Нож —
ржа.
Режу.
Радуюсь.
В голове
жар
подымает градус.
Зацветают луга,
май
поет
в уши, —
это
тянется угар
из-под черных вьюшек.
Четверо сосулек
свернулись,
уснули.
Приходят
люди,
ходят,
будят.
Добудились еле —
с углей
угорели.
В окно —
сугроб.
Глядит горбат.
Не вымерзли покамест?

Морозы
в ночь
идут, скрипят
снегами-сапогами.
Небосвод,
наклонившийся
на комнату мою,
морем
заката
облит.
По розовой
глади
мóря,
на юг —
тучи-корабли.
За гладь,
за розовую,
бросать якоря
туда,
где березовые
дрова
горят.

Я
много
в теплых странах плутал,
но только
в этой зиме
понятной
стала
мне
теплота
любовей,
дружб
и семей.

Лишь лежа
в такую вот гололедь,
зубами
вместе
проляскав —
поймешь:
нельзя
на людей жалеть
ни одеяло,
ни ласку.
Землю,
где воздух,
как сладкий морс,
бросишь
и мчишь, колеся, —
но землю,
с которою
вместе мерз,
вовек
разлюбить нельзя.

*1927*

## НЕОКОНЧЕННОЕ

Я знаю силу слов,
я знаю слов набат.
Они не те,
которым рукоплещут ложи.
От слов таких
срываются гроба
шагать
четверкою
своих дубовых ножек.

Бывает —
выбросят,
не напечатав, не издав.
Но слово мчится,
подтянув подпруги,
звенит века,
и подползают поезда
лизать
поэзии
мозолистые руки.

Я знаю силу слов.
Глядится пустяком.
Опавшим лепестком
под каблуками танца.
Но человек
душой,
губами,
костяком...

*1930*

## (ПРЕДСМЕРТНОЕ)

1.

Любит — не любит.
Я руки ломаю
и пальцы разбрасываю,
разломавши.
Так рвут,
загадав,
и пускают по маю
венчики встречных ромашек.

Пускай седины обнаруживает
стрижка
и бритье.
Пусть серебро годов
вызванивает уймою!
Надеюсь,
верую:
вовеки не придет
ко мне
позорное благоразумие.

2.

Уже второй.
Должно быть, ты легла.
В ночи
Млечпуть
серебряной Окою.
Я не спешу,
и молниями телеграмм
мне незачем
тебя будить
и беспокоить.

Как говорят,
инцидент исперчен.
Любовная лодка
разбилась о быт.
С тобой
мы в расчете.
И не к чему перечень
взаимных болей,
бед
и обид.
Ты посмотри,
какая в мире тишь.
Ночь
обложила небо
звездной данью.
В такие вот часы
встаешь
и говоришь
векам,
истории
и мирозданью.

3.

Уже второй...
Должно быть, ты легла.
А может быть,
и у тебя такое.
Я не спешу.
И молниями телеграмм
мне незачем
тебя
будить и беспокоить.

*1930*

# Борис Леонидович ПАСТЕРНАК

**Родился в 1890 г. в семье известного художника. Учился сперва в Московском, потом в Марбургском университете. Начал печататься с 1912 г. («Центрифуга» — орган умеренных футуристов). Книги стихов: «Близнец в тучах» (1914), «Поверх барьеров» (1917), «Сестра моя жизнь» (написана в 1917 г., опубликована в 1922 г.), «Темы и варьяции» (1923), «Второе рождение» (1932), «На ранних поездах» (1943), «Земной простор» (1945). Пастернаком были также опубликованы: сборник рассказов (1925), автобиография «Охранная грамота» (1931) и «Избранные переводы» (1940). После войны было напечатано несколько книг его переводов трагедий Шекспира.**

## ПОСЛЕ ДОЖДЯ

За окнами давка, толпится листва,
И палое небо с дорог не подобрано.
Всё стихло. Но что это было сперва!
Теперь разговор уж не тот и по-доброму.

Сначала всё опрометью, вразноряд
Ввалилось в ограду деревья развенчивать,
И попранным парком из ливня — под град.
Потом от сараев — к террасе бревенчатой.

Теперь не надышишься крепью густой.
А то, что у тополя жилы полопались, —
Так воздух садовый, как соды настой,
Шипучкой играет от горечи тополя.

Со стекол балконных, как с бедер и спин
Озябших купальщиц — ручьями испарина.
Сверкает клубники мороженый клин,
И градинки стелятся солью поваренной.

Вот луч, покатясь с паутины, залег
В крапиве, но, кажется, это нáдолго,
И миг недалек, как его уголек
В кустах разожжется и выдует радугу.
*1915*

## ЛЕДОХОД

Еще о всходах молодых
Весенний грунт мечтать не смеет.
Из снега выкатив кадык,
Он берегом речным чернеет.

Заря, как клещ, впилась в залив,
И с мясом только вырвешь вечер
Из топи. Как плотолюбив
Простор на севере зловещем!

Он солнцем давится взаглот
И тащит эту ношу по мху.
Он шлепает ее об лед
И рвет, как розовую семгу.

Увалы хищной тишины,
Шатанье сумерек нетрезвых, —
Но льдин ножи обнажены,
И стук стоит зеленых лезвий.

Немолчный, алчный, скучный хрип,
Тоскливый лязг и стук ножевый,
И сталкивающихся глыб
Скрежещущие пережевы.

*1916*

## МАРБУРГ

Я вздрагивал. Я загорался и гас.
Я трясся. Я сделал сейчас предложенье, —
Но поздно, я сдрейфил, и вот мне — отказ.
Как жаль ее слез! Я святого блаженней.

Я вышел на площадь. Я мог быть сочтен
Вторично родившимся. Каждая малость
Жила и, не ставя меня ни во что,
В прощальном значеньи своем подымалась.

Плитняк раскалялся, и улицы лоб
Был смугл, и на небо глядел исподлобья
Булыжник, и ветер, как лодочник, греб
По липам. И все это были подобья.

Но, как бы то ни было, я избегал
Их взглядов. Я не замечал их приветствий.
Я знать ничего не хотел из богатств.
Я вон вырывался, чтоб не разреветься.

Инстинкт прирожденный, старик-подхалим,
Был невыносим мне. Он крался бок-о-бок.
И думал: «Ребячья зазноба. За ним,
К несчастью, придется присматривать в оба».

«Шагни, и еще раз» — твердил мне инстинкт,
И вел меня мудро, как старый схоластик,
Чрез девственный, непроходимый тростник
Нагретых деревьев, сирени и страсти.

«Научишься шагом, а после хоть в бег» —
Твердил он, и новое солнце с зенита
Смотрело, как сызнова учат ходьбе
Туземца планеты на новой планиде.

Одних это всё ослепляло. Другим —
Той тьмою казалось, что глаз хоть выколи.
Копались цыплята в кустах георгин,
Сверчки и стрекозы, как часики, тикали.

Плыла черепица, и полдень смотрел,
Не смаргивая, на кровли. А в Марбурге
Кто, громко свистя, мастерил самострел,
Кто молча готовился к Троицкой ярмарке.

Желтел, облака пожирая, песок.
Предгрозье играло бровями кустарника.
И небо спекалось, упав на кусок
Кровоостанавливающей арники.

В тот день всю тебя от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал на-зубок,
Шатался по городу и репетировал.

Когда я упал пред тобой, охватив
Туман этот, лед этот, эту поверхность
(Как ты хороша!) — этот вихрь духоты...
О чем ты? Опомнись! Пропало. Отвергнут.

***

Тут жил Мартин Лютер. Там — братья Гримм.
Когтистые крыши. Деревья. Надгробья.
И всё это помнит и тянется к ним.
Всё — живо. И всё это тоже — подобья.

О, нити любви! Улови, перейми.
Но как ты громаден, отбор обезьяний,
Когда под надмирными жизни дверьми,
Как равный, читаешь свое описанье!

Когда-то под рыцарским этим гнездом
Чума полыхала. А нынешний жупел —
Насупленный лязг и полет поездов
Из жарко, как ульи, курящихся дупел.

Нет, я не пойду туда завтра. Отказ —
Полнее прощанья. Всё ясно. Мы квиты.
Да и оторвусь ли от газа, от касс?
Что будет со мною, старинные плиты?

Повсюду портпледы разложит туман,
И в обе оконницы вставят по месяцу.
Тоска пассажиркой скользнет по томам
И с книжкою на отоманке поместится.

Чего же я трушу? Ведь я, как грамматику,
Бессонницу знаю. Стрясется — спасут.
Рассудок? Но он — как луна для лунатика.
Мы в дружбе, но я не его сосуд.

Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мной на лунном паркетном полу,
Акацией пахнет, и окна распахнуты,
И страсть, как свидетель, седеет в углу.

И тополь — король. Я играю с бессонницей.
И ферзь — соловей. Я тянусь к соловью.
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,
Я белое утро в лицо узнаю.

*1916*

## ПАМЯТИ ДЕМОНА

Приходил по ночам
В синеве ледника от Тамары.
Парой крыл намечал,
Где гудеть, где кончаться кошмару.

Не рыдал, не сплетал
Оголенных, исхлестанных, в шрамах.
Уцелела плита
За оградой грузинского храма.

Как горбунья дурна,
Под решеткою тень не кривлялась.
У лампады зурна,
Чуть дыша, о княжне не справлялась.

Но сверканье рвалось
В волосах и, как фосфор, трещали.
И не слышал колосс,
Как седеет Кавказ за печалью.

От окна на аршин,
Пробирая шерстинки бурнуса,
Клялся льдами вершин:
Спи, подруга, лавиной вернуся.

*(1917)*

## ПРО ЭТИ СТИХИ

На тротуарах истолку
С стеклом и солнцем пополам,
Зимой открою потолку
И дам читать сырым углам.

Задекламирует чердак
С поклоном рамам и зиме,
К карнизам прянет чехарда
Чудачеств, бедствий и замет.

Буран не месяц будет месть,
Концы, начала заметет.
Внезапно вспомню: — солнце есть;
Увижу: свет уже не тот.

Галчонком глянет Рождество,
И разгулявшийся денек
Прояснит много из того,
Что мне и милой невдомек.

В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь фортку кликну детворе:
Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?

Кто тропку к двери проторил,
К дыре, засыпанной крупой,
Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По?

Пока в Дарьял, как к другу, вхож,
Как в ад, в цейхгауз и в арсенал,
Я жизнь, как Лермонтова дрожь,
Как губы в вермут окунал.

*(1917)*

Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.

У старших на это свои есть резоны.
Бесспорно, бесспорно смешон твой резон,
Что в грозу лиловы глаза и газоны
И пахнет сырой резедой горизонт.

Что в мае, когда поездов расписанье
Камышинской веткой читаешь в купе,
Оно грандиозней Свя́того Писанья
И черных от пыли и бурь канапе.

Что только нарвется, разлаявшись, тормоз
На мирных сельчан в захолустном вине,
С матрацев глядит, не моя ли платформа,
И солнце, садясь, соболезнует мне.

И в третий плеснув, уплывает звоночек
Сплошным извиненьем: жалею, не здесь.
Под шторку несет обгорающей ночью,
И рушится степь со ступенек к звезде.

Мигая, моргая, но спят где-то сладко,
И фатаморганой любимая спит
Тем часом, как сердце, плеща по площадкам,
Вагонными дверцами сыплет в степи.

*(1917)*

## СЛОЖА ВЕСЛА

Лодка колотится в сонной груди,
Ивы нависли, целуют в ключицы,
В локти, в уключины — о, погоди,
Это ведь может со всяким случиться!

Этим ведь в песне тешатся все.
Это ведь значит — пепел сиреневый,
Роскошь крошеной ромашки в росе,
Губы и губы на звезды выменивать!

Это ведь значит — обнять небосвод,
Руки сплести вкруг Геракла громадного,
Это ведь значит — века напролет
Ночи на щелканье славок проматывать!

*(1917)*

## ПЛАЧУЩИЙ САД

Ужасный! — Капнет и вслушается,
Всё он ли один на свете, —
Мнет ветку в окне, как кружевце, —
Или есть свидетель.

Но давится внятно от тягости
Отеков — земля ноздревая,
И слышно: далеко, как в августе,
Полуночь в полях назревает.

Ни звука. И нет соглядатаев.
В пустынности удостоверясь,
Берется за старое — скатывается
По кровле, за жолоб и через.

К губам поднесу и прислушаюсь,
Всё я ли один на свете,
Готовый навзрыд при случае, —
Или есть свидетель.

Но тишь. И листок не шелохнется.
Ни признака зги, кроме жутких
Глотков и плесканья в шлепанцах,
И вздохов и слез в промежутке.

*(1917)*

## НЕ ТРОГАТЬ

«Не трогать, свеже выкрашен», —
Душа не береглась,
И память — в пятнах икр и щек,
И рук и губ и глаз.

Я больше всех удач и бед
За то тебя любил,
Что пожелтелый белый свет
С тобой — белей белил.

И мгла моя, мой друг, божусь,
Он станет как-нибудь
Белей, чем бред, чем абажур,
Чем белый бинт на лбу!

*(1917)*

## ДО ВСЕГО ЭТОГО БЫЛА ЗИМА

В занавесках кружевных
Воронье.
Ужас стужи уж и в них
Заронен.

Это кружится октябрь,
Это жуть
Подобралась на когтях
К этажу.

Что ни просьба, что ни стон,
То, кряхтя,
Заступаются шестом
За октябрь.

Ветер за руки схватив,
Дерева
Гонят лестницей с квартир
По дрова.

Снег валится, и с колен —
В магазин
С восклицаньем: «Сколько лет,
Сколько зим!»

Сколько раз он рыт и бит,
Сколько им
Сыпан зимами с копыт
Кокаин!

Мокрой солью с облаков
И с удил
Боль, как пятна с башлыков,
Выводил.

*(1917)*

## ИЗ СУЕВЕРЬЯ

Коробка с красным померанцем —
Моя каморка.
О, не об номера ж мараться
По гроб, до морга!

Я поселился здесь вторично
Из суеверья.
Обоев цвет, как дуб, коричнев
И — пенье двери.

Из рук не выпускал защелки,
Ты вырывалась,
И чуб касался чудной челки
И губы — фиалок.

О, неженка, во имя прежних
И в этот раз твой
Наряд щебечет, как подснежник
Апрелю: «Здравствуй!»

Грех думать — ты не из весталок:
Вошла со стулом,
Как с полки, жизнь мою достала
И пыль обдула.

*(1917)*

## ЗВЕЗДЫ ЛЕТОМ

Рассказали страшное,
Дали точный адрес.
Отпирают, спрашивают,
Движутся, как в театре.

Тишина, ты — лучшее
Из всего, что слышал.
Некоторых мучает,
Что летают мыши.

Июльской ночью слободы —
Чудно белокуры.
Небо в бездне поводов,
Чтоб набедокурить.

Блещут, дышат радостью,
Обдают сияньем,
На таком-то градусе
И меридиане.

Ветер розу пробует
Приподнять по просьбе
Губ, волос и обуви,
Подолов и прозвищ.

Газовые, жаркие,
Осыпают в гравий
Всё, что им нашаркали,
Всё, что им наиграли.

*(1917)*

## УРОКИ АНГЛИЙСКОГО

Когда случилось петь Дездемоне, —
А жить так мало оставалось, —
Не по любви, своей звезде она, —
По иве, иве разрыдалась.

Когда случилось петь Дездемоне
И голос завела, крепясь,
Про черный день чернейший демон ей
Псалом плакучих русл припас.

Когда случилось петь Офелии, —
А жить так мало оставалось, —
Всю сушь души взмело и свеяло,
Как в бурю стебли с сеновала.

Когда случилось петь Офелии,
А горечь грез осточертела,
С какими канула трофеями?
С охапкой верб и чистотела.

Дав страсти с плеч отлечь, как рубищу,
Входили, с сердца замираньем,
В бассейн вселенной, стан свой любящий
Обдать и оглушить мирами.

*(1917)*

Любимая — жуть! Когда любит поэт,
Влюбляется Бог неприкаянный.
И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых.

Глаза ему тонны туманов слезят.
Он застлан. Он кажется мамонтом.
Он вышел из моды. Он знает — нельзя:
Прошли времена и — безграмотно.

Он видит, как свадьбы справляют вокруг,
Как спаивают, просыпаются.
Как общелягушечью эту икру
Зовут, обрядив ее, — паюсной.

Как жизнь, как жемчужную шутку Ватто,
Умеют обнять табакеркою.
И мстят ему, может быть, только за то,
Что там, где кривят и коверкают,

Где лжет и кадит, ухмыляясь, комфорт,
И трутнями трутся и ползают,
Он вашу сестру, как вакханку с амфор,
Подымет с земли и использует.

И таянье Андов вольет в поцелуй,
И утро в степи, под владычеством
Пылящихся звезд, когда ночь по селу
Белеющим блеяньем тычется.

И всем, чем дышалось оврагам века,
Всей тьмой ботанической ризницы
Пахнет по тифозной тоске тюфяка,
И хаосом зарослей брызнется.

*(1917)*

Давай ронять слова,
Как сад — янтарь и цедру;
Рассеянно и щедро,
Едва, едва, едва.

Не надо толковать,
Зачем так церемонно
Мареной и лимоном
Обрызнута листва.

Кто иглы заслезил
И хлынул через жерди
На ноты, к этажерке
Сквозь шлюзы жалюзи.

Кто коврик за дверьми
Рябиной иссурьмил,
Рядном сквозных, красивых,
Трепещущих курсивов.

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб август был велик,
Кому ничто не мелко,
Кто погружен в отделку

Кленового листа
И с дней экклезиаста
Не покидал поста
За теской алебастра?

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб губы астр и далий
Сентябрьские страдали?
Чтоб мелкий лист ракит
С седых кариатид
Слетал на сырость плит
Осенних госпиталей?

Ты спросишь, кто велит?
— Всесильный Бог деталей,
Всесильный Бог любви,
Ягайлов и Ядвиг.

Не знаю, решена ль
Загадка зги загробной,
Но жизнь, как тишина
Осенняя, — подробна.

*(1917)*

## В ЛЕСУ

Луга мутило жаром лиловатым,
В лесу клубился кафедральный мрак.
Что оставалось в мире целовать им?
Он весь был их, как воск на пальцах мяк.

Есть сон такой, — не спишь, а только снится,
Что жаждешь сна; что дремлет человек,
Которому сквозь сон палит ресницы
Два черных солнца, бьющих из-под век.

Текли лучи. Текли жуки с отливом,
Стекло стрекоз сновало по щекам.
Был полон лес мерцаньем кропотливым,
Как под щипцами у часовщика.

Казалось, он уснул под стук цифири,
Меж тем как выше, в терпком янтаре,
Испытаннейшие часы в эфире
Переставляют, сверив по жаре.

Их переводят, сотрясают иглы
И сеют тень, и мают, и сверлят
Мачтовый мрак, который ввысь воздвигло,
В истому дня, на синий циферблат.

Казалось, древность счастья облетает.
Казалось, лес закатом снов объят.
Счастливые часов не наблюдают,
Но те, вдвоем, казалось, только спят.

*(1917)*

Заплети этот ливень, как волны, холодных локтей
И, как лилии, атласных и властных бессильем
ладоней!
Отбивай, ликованье! На волю! Лови их, — ведь
в бешеной этой лапте —
Голошенье лесов, захлебнувшихся эхом охот
в Калидоне,
Где, как лань, обеспамятев, гнал Аталанту к поляне
Актей,
Где любили бездонной лазурью, свистевшей в ушах
лошадей,
Целовались заливистым лаем погони
И ласкались раскатами рога и треском деревьев,
копыт и когтей.
— О, на волю! На волю — как те!

*(1918)*

---

Рояль дрожащий пену с губ оближет.
Тебя сорвет, подкосит этот бред.
Ты скажешь: — милый! — Нет, — вскричу я, — нет.
При музыке?! — Но можно ли быть ближе,

Чем в полутьме, аккорды, как дневник,
Меча в камин комплектами, погодно?
О пониманье дивное, кивни,
Кивни, и изумишься! — ты свободна.

Я не держу. Иди, благотвори.
Ступай к другим. Уже написан Вертер,
А в наши дни и воздух пахнет смертью:
Открыть окно, что жилы отворить.

*1918*

## ВЕСНА

Весна, я с улицы, где тополь удивлен,
Где даль пугается, где дом упасть боится,
Где воздух синь, как узелок с бельем
У выписавшегося из больницы.

Где вечер пуст, как прерванный рассказ,
Оставленный звездой без продолженья
К недоуменью тысяч шумных глаз,
Бездонных и лишенных выраженья.

*1918*

Здесь прошелся загадки таинственный ноготь.
— Поздно, высплюсь, чем свет перечту и пойму.
А пока не разбудят, любимую трогать
Так, как мне, не дано никому.

Как я трогал тебя! Даже губ моих медью
Трогал так, как трагедией трогают зал.
Поцелуй был, как лето. Он медлил и медлил,
Лишь потом разражалась гроза.

Пил, как птицы. Тянул до потери сознанья.
Звезды долго горлом текут в пищевод,
Соловьи же заводят глаза с содроганьем,
Осушая по капле ночной небосвод.

*1918*

Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,
Щебечут, свищут, — а слова
Являются о третьем годе.

Так начинают понимать.
И в шуме пущенной турбины
Мерещится, что мать — не мать,
Что ты — не ты, что дом — чужбина.

Что делать страшной красоте,
Присевшей на скамью сирени,
Когда и впрямь не красть детей?
Так возникают подозренья.

Так зреют страхи. Как он даст
Звезде превысить досяганье,
Когда он — Фауст, когда — фантаст?
Так начинаются цыгане.

Так открываются, паря
Поверх плетней, где быть домам бы,
Внезапные, как вздох, моря.
Так будут начинаться ямбы.

Так ночи летние, ничком
Упав в овсы с мольбой: исполнься,
Грозят заре твоим зрачком.
Так затевают ссоры с солнцем.

Так начинают жить стихом.

*1921*

## ПОЭЗИЯ

Поэзия, я буду клясться
Тобой, и кончу, прохрипев:
Ты не осанка сладкогласца,
Ты — лето с местом в третьем классе,
Ты — пригород, а не припев.

Ты — душная, как май, Ямская,
Шевардина ночной редут,
Где тучи стоны испускают
И врозь по роспуске идут.

И в рельсовом витье двояся, —
Предместье, а не перепев, —
Ползут с вокзалом во-свояси
Не с песней, а оторопев.

Отростки ливня грязнут в гроздьях
И долго, долго до зари
Кропают с кровель свой акростих,
Пуская в рифму пузыри.

Поэзия, когда под краном
Пустой, как цинк ведра, трюизм,
То и тогда струя сохранна,
Тетрадь подставлена, — струись!

*1922*

## ЛАНДЫШИ

С утра жара. Но отведи
Кусты, и грузный полдень разом
Всей массой хряснет позади,
Обламываясь под алмазом.

Он рухнет в ребрах и лучах,
В разгранке зайчиков дрожащих,
Как наземь с потного плеча
Опущенный стекольный ящик.

Укрывшись ночью навесной,
Здесь белизна сурьмится углем.
Непревзойденной новизной
Весна здесь сказочна, как Углич.

Жары нещадная резня
Сюда не сунется с опушки.
И вот ты входишь в березняк.
Вы всматриваетесь друг в дружку.

Но ты уже предупрежден.
Вас кто-то наблюдает снизу:
Сырой овраг сухим дождем
Росистых ландышей унизан.

Он отделился и привстал,
Кистями капелек повисши,
На палец, на два от листа,
На полтора — от корневища.

Шурша неслышно, как парча,
Льнут лайкою его початки.
Весь сумрак рощи сообща
Их разбирает на перчатки.

*1927*

## ДРУГУ

Иль я не знаю, что, в потемки тычась,
Вовек не вышла б к свету темнота,
И я — урод, и счастье сотен тысяч
Не ближе мне пустого счастья ста?

И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не подымаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой?
И с тем, что всякой косности косней?

Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.

## БАЛЛАДА

На даче спят. В саду, до пят
Подветренном, кипят лохмотья.
Как флот в трехъярусном полете,
Деревьев паруса кипят.
Лопатами, как в листопад,
Гребут березы и осины.
На даче спят, укрывши спину,
Как только в раннем детстве спят.

Ревет фагот, гудит набат.
На даче спят под шум без плоти,
Под ровный шум на ровной ноте,
Под ветра яростный надсад.
Льет дождь, он хлынул с час назад.
Кипит деревьев парусина.
Льет дождь. На даче спят два сына,
Как только в раннем детстве спят.

Я просыпаюсь. Я объят
Открывшимся. Я на учете.
Я на земле, где вы живете,
И ваши тополя кипят.
Льет дождь. Да будет также свят,
Как их невинная лавина...
Но я уж сплю наполовину,
Как только в раннем детстве спят.

Льет дождь. Я вижу сон: я взят
Обратно в ад, где все в комплоте
И женщин в детстве мучат тети,
А в браке дети теребят.
Льет дождь. Мне снится: из ребят
Я взят в науку к исполину,
Я сплю под шум, месящий глину,
Как только в раннем детстве спят.

Светает. Мглистый банный чад.
Балкон плывет, как на плашкоте.
Как на плотах, — кустов щепоти
И в каплях потный тес оград.
(Я видел вас пять раз подряд)

Спи, быль. Спи жизни ночью длинной.
Усни, баллада, спи, былина,
Как только в раннем детстве спят.

*1930*

Мне хочется домой, в огромность
Квартиры, наводящей грусть.
Войду, сниму пальто, опомнюсь,
Огнями улиц озарюсь.

Перегородок тонкоребрость
Пройду насквозь, пройду, как свет.
Пройду, как образ входит в образ
И как предмет сечет предмет.

Пускай пожизненность задачи,
Врастающей в заветы дней,
Зовется жизнию сидячей, —
И по такой, грущу по ней.

Опять знакомостью напева
Пахнут деревья и дома.
Опять направо и налево
Пойдет хозяйничать зима.

Опять к обеду на прогулке
Наступит темень, просто страсть.
Опять научит переулки
Охулки на руки не класть.

Опять повалят с неба взятки,
Опять укроет к утру вихрь
Осин подследственных десятки
Сукном сугробов снеговых.

Опять опавшей сердца мышцей
Услышу и вложу в слова,
Как ты ползешь и как дымишься,
Встаешь и строишься, Москва.

И я приму тебя, как упряжь,
Тех ради будущих безумств,
Что ты, как стих, меня зазубришь,
Как быль, запомнишь наизусть.

*(1932)*

Здесь будет всё: пережитое
В предвиденьи и наяву,
И те, которых я не стою,
И то, за что средь них слыву.

И в шуме этих категорий
Займут по первенству куплет
Леса Аджарского предгорья
У взморья белых Кабулет.

Еще ты здесь, и мне сказали,
Где ты сейчас и будешь в пять.
Я б мог застать тебя в курзале,
Чем даром языком трепать.

Ты б слушала и молодела,
Большая, смелая, своя,
О человеке у предела
От переростка муравья.

Есть в опыте больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой.

В родстве со всем, что есть, уверясь,
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.

Но мы пощажены не будем,
Когда ее не утаим.
Она всего нужнее людям,
Но сложное понятней им.

*(1932)*

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом и убьют!

От шуток с этой подоплекой
Я б отказался наотрез.
Начало было так далеко,
Так робок первый интерес.

Но старость — это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.

Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.

*(1932)*

## ЛЕТО

Ирпень — это память о людях и лете,
О волнах, о бегстве из-под кабалы,
О хвое на зное, о сером левкое
И смене безветрия, вёдра и мглы.

О белой вербене, о терпком терпеньи
Смолы; о друзьях, для которых малы
Мои похвалы и мои восхваленья,
Мои славословья, мои похвалы.

Пронзительных иволог крик и явленье
Китайкой и углем чертило стволы,
Но сосны не двигали игол от лени
И белкам и дятлам сдавали углы.

Сырели комоды, и смену погоды
Древесная квакша вещала с сучка,
И балка у входа ютила удода,
И, детям в угоду, запечье — сверчка.

В дни съезда шесть женщин топтали луга.
Лениво паслись облака в отдаленьи.
Смеркалось, и сумерек тихий маневр
Сводил с полутьмою зажженный репейник,
С землею — саженные тени ирпенек
И с небом — пожар полосатых панёв.

Смеркалось, и, ставя простор на колени,
Загон горизонта смыкал полукруг.

Зарницы вздымали рога по-оленьи,
И с сена вставали и ели из рук
Подруг, по приходе домой, тем не мене,
От жуликов дверь запиравших на крюк.

В конце пред отъездом, ступая по кипе
Листвы облетелой в жару бредовом,
Я с неба, как с губ, перетянутых сыпью,
Налет недомолвок сорвал рукавом.

И осень, дотоле вопившая выпью,
Прочистила горло; и поняли мы,
Что мы на пиру в вековом прототипе
На пире Платона во время чумы.

Откуда же эта печаль, Диотима?
Каким увереньем прервать забытье?
По улицам сердца из тьмы нелюдимой!
Дверь настежь! За дружбу, спасенье мое!

И это ли происки Мери-арфистки,
Что рока игрою ей под руки лег
И арфой шумит ураган аравийский,
Бессмертья, быть может, последний залог.

*(1932)*

Красавица моя, вся стать,
Вся суть твоя мне по сердцу,
Вся рвется музыкою стать,
И вся на рифмы просится.

А в рифмах умирает рок,
И правдой входит в наш мирок
Миров разноголосица.

И рифма не вторенье строк,
А гардеробный номерок,
Талон на место у колонн
В загробный гул корней и лон.

И в рифмах дышит та любовь,
Что здесь с трудом выносится,
Перед которой хмурят бровь
И морщат переносицу.

И рифма не вторенье строк,
Но вход и пропуск за порог,
Чтоб сдать, как плащ за бляшкою
Болезни тягость тяжкую,
Боязнь огласки и греха
За громкой бляшкою стиха.

Красавица моя, вся суть,
Вся стать твоя, красавица,
Спирает грудь и тянет в путь
И тянет петь, и — нравится.

Тебе молился Поликлет,
Твои законы изданы.
Твои законы в далях лет.
Ты мне знакома издавна.

*(1932)*

Пока мы по Кавказу лазаем,
И в задыхающейся раме
Кура ползет атакой газовою
К Арагве, сдавленной горами,
И в августовский свод из мрамора,
Как обезглавленных гортани,
Заносят яблоки адамовы
Казненных замков очертанья.

Пока я голову заламываю,
Следя, как шеи укреплений
Плывут по синеве сиреневой
И тонут в бездне поколений,
Пока, сменяя рощи вязовые,
Курчавится лесная мелочь,
Что шепчешь ты, что мне подсказываешь,
Кавказ, Кавказ, о, что мне делать!

Объятье в тысячу охватов,
Чем обеспечен твой успех?
Здоровый глаз за веко спрятав,
Над чем смеешься ты, Казбек?
Когда от высей сердце ёкает
И гор колышутся кадила,
Ты думаешь, моя далекая,
Что чем-то мне не угодила?
И там у Альп, в дали Германии,
Где так же чокаются скалы,
Но отклики еще туманнее,
Ты думаешь, — ты оплошала?

Я брошен в жизнь, в потоке дней
Катящую потоки рода,
И мне кроить свою трудней,
Чем резать ножницами воду.
Не бойся снов, не мучься, брось.
Люблю и думаю и знаю.
Смотри, и рек не мыслит врозь
Существованья ткань двойная.

*(1932)*

---

Стихи мои, бегом, бегом,
Мне в вас нужда, как никогда.
С бульвара за угол есть дом,
Где дней порвалась череда,
Где пуст уют и брошен труд,
И плачут, думают и ждут.

Где пьют, как воду, горький бром
Полубессонниц, полудрем.
Есть дом, где хлеб, как лебеда,
Есть дом, — так вот бегом туда.

Пусть вьюга с улиц улюлю, —
Вы — радугой по хрусталю,
Вы — сном, вы — вестью: я вас шлю,
Я шлю вас, значит, я люблю.

О, ссадины вкруг женских шей
От вешавшихся фетишей:
Как я их знаю, как постиг,
Я, вешающийся на них.
Всю жизнь я сдерживаю крик
О видимости их вериг,

Но их одолевает ложь
Чужих похолодевших лож
И образ Синей Бороды
Сильнее, чем мои труды.

Наследье страшное мещан,
Их посещает по ночам
Несуществующий, как Вий,
Обидный призрак нелюбви
И, привиденьем искажен,
Природный жребий лучших жен.

О, как она была смела,
Когда едва из-под крыла
Любимой матери, шутя,
Свой детский смех мне отдала,
Без прекословий и помех
Свой детский мир и детский смех,
Обид не знавшее дитя,
Свои заботы и дела.

*(1932)*

Когда я устаю от пустозвонства
Во все века вертящихся льстецов,
Мне хочется, как сон при свете солнца,
Припомнить жизнь и ей взглянуть в лицо.

Незваная, она внесла, во-первых,
Во всё, что сталось, вкус больших начал.
Я их не выбирал и суть не в нервах,
Что я не жаждал, а предвосхищал.

И вот года строительного плана,
И вновь зима, и вот четвертый год.
Две женщины, как отблеск ламп «Светлана»,
Горят и светят средь его тягот.

Мы в будущем, твержу я им, как все, кто
Жил в эти дни. А если из калек,
То всё равно: телегою проэкта
Нас переехал новый человек.

Когда ж от смерти не спасет таблетка,
То тем свободней время поспешит
В ту даль, куда вторая пятилетка
Протягивает тезисы души.

Тогда не убивайтесь, не тужите,
Всей слабостью клянусь остаться в вас.
А сильными обещано изжитье
Последних язв одолевавших нас.

*(1932)*

## СОСНЫ

В траве, меж диких бальзаминов,
Ромашек и лесных купав,
Лежим мы, руки запрокинув
И к небу головы задрав.

Трава на просеке сосновой
Непроходима и густа.
Мы переглянемся и снова
Меняем позы и места.

И вот, бессмертные на время,
Мы к лику сосен причтены
И от болей и эпидемий,
И смерти освобождены.

С намеренным однообразьем,
Как мазь, густая синева
Ложится зайчиками наземь
И пачкает нам рукава.

Мы делим отдых краснолесья
Под копошенье мураша,
Сосновою снотворной смесью
Лимона с ладаном дыша.

И так неистовы на синем
Разбеги огненных стволов,
И мы так долго рук не вынем
Из-под заломленных голов,

И столько широты во взоре,
И так покорно всё извне,
Что где-то за стволами море
Мерещится всё время мне.

Там волны выше этих веток
И, сваливаясь с валуна,
Обрушивает град креветок
Со взбаламученного дна.

А вечерами за буксиром
На пробках тянется заря,
И отливает рыбьим жиром
И мглистой дымкой янтаря.

Смеркается, и постепенно
Луна хоронит все следы
Под белой магиею пены
И черной магией воды.

А волны всё шумней и выше,
А публика на поплавке
Толпится у столба с афишей,
Неразличимой вдалеке.

*(1943)*

## ЗИМА ПРИБЛИЖАЕТСЯ

Зима приближается. Сызнова
Какой-нибудь угол медвежий
Под слезы ребенка капризного
Исчезнет в грязи непроезжей.

Домишки в озерах очутятся.
Над ними закурятся трубы.
В холодных объятьях распутицы
Сойдутся к огню жизнелюбы.

Обители севера строгого,
Накрытые небом, как крышей,
На вас, захолустные логова,
Написано: Сим победиши.

Люблю вас, далекие пристани
В провинции или деревне...
Чем книга чернее и листанней,
Тем прелесть ее задушевней.

Обозы тяжелые двигая,
Раскинувши нив алфавиты,
Вы с детства любимою книгою
Как бы на середке открыты.

И вдруг она пишется заново
Ближайшею первой метелью,
Вся в росчерках полоза санного,
И белая, как рукоделье.

Октябрь серебристо-ореховый;
Блеск заморозков оловянный.
Осенние сумерки Чехова,
Чайковского и Левитана.

*1943*

# Эдуард Георгиевич БАГРИЦКИЙ

## (Настоящая фамилия — Дзюбин)

Родился в 1895 г. в Одессе в бедной еврейской семье. Учился в реальном училище, потом в землемерном. Начал писать 13-ти лет. Первые стихи были напечатаны в сборнике «Серебряные трубы» (1914). В 1917 г. — на персидском фронте, откуда в 1918 г. возвращается в Одессу. Во время гражданской войны — в партизанских отрядах. В 1920 г. работает в Юго-РОСТА; входит в группу одесских литераторов, где, кроме него, были В. Катаев, Ю. Олеша, И. Ильф и Е. Петров и В. Инбер. В 1928 г. переезжает в Москву. 1928 — книга стихов «Юго-Запад». Поэма «Дума про Опанаса» написана в 1926 г. Был членом группы конструктивистов, потом вступил в РАПП. Умер от астмы в Москве в 1934 г.

### ПТИЦЕЛОВ

Трудно дело птицелова:
Заучи повадки птичьи,
Помни время перелетов,
Разным посвистом свисти.

Но, шатаясь по дорогам,
Под заборами ночуя,
Дидель весел, Дидель может
Песни петь и птиц ловить.

В бузине, сырой и круглой,
Соловей ударит дудкой,
На сосне звенят синицы,
На березке зяблик бьет.

И вытаскивает Дидель
Из котомки заповедной
Три манка — и каждой птице
Посвящает он манок.

Дунет он в манок бузинный, —
И звенит манок бузинный, —
Из бузинного прикрытья
Отвечает соловей.

Дунет он в манок сосновый,
И свистит манок сосновый, —
На сосне в ответ синицы
Рассыпают бубенцы.

И вытаскивает Дидель
Из котомки заповедной
Самый легкий, самый звонкий
Свой березовый манок.

Он лады проверит нежно,
Щель певучую продует, —
Громким голосом береза
Под дыханьем запоет.

И, заслышав этот голос,
Голос дерева и птицы,
На березе придорожной
Зяблик загремит в ответ.

За проселочной дорогой,
Где затих тележный грохот,
Над прудом, покрытым ряской,
Дидель сети разложил.

И пред ним, зеленый снизу,
Голубой и синий сверху,
Мир встает огромной птицей,
Свищет, щелкает, звенит.

Так идет веселый Дидель
С палкой, птицей и котомкой
Через Гарц, поросший лесом,
Вдоль по рейнским берегам.

По Тюрингии дубовой,
По Саксонии сосновой,
По Вестфалии бузинной,
По Баварии хмельной.

Марта, Марта, надо ль плакать,
Если Дидель ходит в поле,
Если Дидель свищет птицам
И смеется невзначай?

*1918*

Нас Батюшков учил: лови
Страстей легчайшие движенья.
Пусть жар любви и вдохновенья
Струится медленно в крови.
Горя желанием одним —
Пустынных дней развеять скуку,
Мы в сердце бережно храним
Поэта милую науку.
Как часто, о, любезный друг,
Часы тревоги и печали
Вино и песни превращали
В очаровательный досуг.
Так под покровом легкой тьмы
Мы не скорбим и не скучаем,
Лишь пальцы загибаем мы,
Мелькающие дни считаем.
Когда ж окончен пальцам счет
Иль более считать нет силы,
Нас добрый ангел подведет
К сырому гравию могилы.

*1919*

Я сладко изнемог
От тишины и снов,
От скуки медленной
И песен неумелых,
Мне любы петухи на полотенцах белых
И копоть древняя суровых образов.

Под жаркий шорох мух
Проходит день за днем,
Благочестивейшим исполненный смиреньем,
Бормочет перепел
Под низким потолком,
Да пахнет в праздники малиновым вареньем.

А по ночам томит гусиный нежный пух,
Лампада душная мучительно мигает,
И, шею вытянув,
Протяжно запевает
На полотенце вышитый петух.

Там мне, о, Господи, ты скромный дал приют,
Под кровом благостным,
Не знающим волненья,
Где дни тяжелые,
Как с ложечки варенье,
Густыми каплями текут, текут, текут.

*1919*

## РАЗБОЙНИК
### (В. Скотт)

Брэнгельских рощ
Прохладна тень,
Незыблем сон лесной;
Здесь тьма и лень,
Здесь полон день
Весной и тишиной...

Над лесом
Снизилась луна.
Мой борзый конь храпит...
Там замок встал,
И у окна
Над рукоделием,
Бледна,
Красавица сидит...

Тебе, владычица лесов,
Бойниц и амбразур,
Веселый гимн
Пропеть готов
Бродячий трубадур...

Мой конь,
Обрызганный росой,
Играет и храпит,
Мое поместье
Под луной,
Ночной повито тишиной,
В горячих травах спит...

В седле
Есть место для двоих,
Надежны стремена!

Взгляни, как лес
Курчав и тих,
Как снизилась луна!

Она поет:
— Прохладна тень,
И ясен сон лесной...
Здесь тьма и лень,
Здесь полон день
Весной и тишиной...

О, счастье — прах,
И гибель — прах,
Но мой закон — любить.
И я хочу
В лесах,
В лесах
Вдвоем с Эдвином жить...

От графской свиты
Ты отстал,
Ты жаждою томим;
Охотничий блестит кинжал
За поясом твоим,
И соколиное перо
В ночи
Горит огнем,
Я вижу
Графское тавро
На скакуне твоем!

Увы!.. Я графов не видал,
И род
Не графский мой!
Я их поместья поджигал
Полуночной порой!..
Мое владенье

Вдаль и вширь
В ночных лесах лежит.
Над ним кружится
Нетопырь,
И в нем
Сова кричит...

Она поет:
— Прохладна тень,
И ясен сон лесной...
Здесь тьма и лень,
Здесь полон день
Весной и тишиной!

О, счастье — прах,
И гибель — прах,
Но мой закон — любить...
И я хочу
В лесах,
В лесах
Вдвоем с Эдвином жить!..

Веселый всадник,
Твой скакун
Храпит под чепраком.
Теперь я знаю:
Ты — драгун
И мчишься за полком...
Недаром скроен
Твой наряд
Из тканей дорогих
И шпоры длинные горят
На сапогах твоих!..

Увы! Драгуном не был я,
Мне чужд солдатский строй:
Казарма вольная моя —
Сырой простор лесной...

Я песням у дроздов учусь
В передрассветный час,
В боярышник лисицей мчусь —
От вражьих скрыться глаз...

И труд необычайный мой
Меня к закату ждет,
И необычная за мной
В тумане смерть придет...
Мы часа ждем
В ночи, в ночи.
И вот —
В лесах,
В лесах
Коней седлаем
И мечи
Мы точим на камнях...

Мы знаем
Тысячи дорог,
Мы слышим
Гром копыт.
С дороги каждой
Грянет рог —
И громом пролетит...

Где пуля запоет в кустах,
Где легкий меч сверкнет,
Где жаркий заклубится прах,
Где верный конь заржет...

И листья
Плещутся, дрожа,
И птичий
Молкнет гам,
И убегают сторожа,
Открыв дорогу нам...
И мы несемся

Вдаль и вширь
Под лязганье копыт;
Над нами реет
Нетопырь,
И вслед
Сова кричит...

И нам не страшен
Дьявол сам,
Когда пред черным днем
Он молча
Бродит по лесам
С коптящим фонарем...

И графство задрожит, когда,
Лесной взметая прах,
Из лесу вылетит беда
На взмыленных конях...

Мой конь,
Обрызганный росой,
Играет и храпит,
Мое поместье
Под луной,
Ночной повито тишиной,
В горячих травах спит...

В седле есть место
Для двоих,
Надежны стремена!
Взгляни, как лес
Курчав и тих,
Как снизилась луна!
Она поет:
— Брэнгельских рощ
Что может быть милей?
Там по ветвям

Стекает дождь,
Там прядает ручей!

О, счастье — прах,
И гибель — прах,
Но мой закон — любить...
И я хочу
В лесах,
В лесах
Вдвоем с Эдвином жить!

*1923*

## ПУШКИН

...И Пушкин падает в голубоватый
Колючий снег.
Он знает: здесь — конец...
Недаром в кровь его влетел крылатый,
Безжалостный и жалящий свинец.

Кровь на рубахе...
Полость меховая
Откинута.
Полозья дребезжат...
Леса и снег,
И скука путевая.
Возок уносится —
Назад... назад!..

Он дремлет, Пушкин.
Вспоминает снова
То, что́ влюбленному забыть нельзя:
Рассыпанные кудри Гончаровой
И тихие медовые глаза.

Случайный ветер нагоняет скуку,
В пустынной хвое замирает край...
...Наемника безжалостную руку
Наводит на поэта Николай!

Он — здесь, жандарм.
Он из-за хвои леса
Следит —
Упорно ль взведены курки?
Глядят на узкий пистолет Дантеса
Его остеклянелые зрачки....

И мне ли,
Выученному, как надо
Писать стихи и из винтовки бить,
Певца убийцам не найти награды,
За кровь пролитую не отомстить?

Я мстил за Пушкина под Перекопом,
Я Пушкина через Урал пронес,
Я с Пушкиным шатался по окопам,
Покрытый вшами,
Голоден и бос!

И сердце колотилось безотчетно,
И вольный пламень в сердце закипал,
И в свисте пуль,
за песней пулеметной —
Я вдохновенно Пушкина читал...

Идут года дорогой неуклонной,
Клокочет в сердце песенный порыв...
Цветет весна —
И Пушкин отомщенный
Всё так же сладостно-вольнолюбив.

*1924*

## АРБУЗ

Свежак надрывается. Прет на рожон
Азовского моря корыто.
Арбуз на арбузе — и трюм нагружен,
Арбузами пристань покрыта.

Не пить первача в дорассветную стыдь,
На скучном зевать карауле,
Три дня и три ночи придется проплыть —
И мы паруса развернули...

В густой бородач ударяет бурун,
Чтоб брызгами вдрызг разлететься;
Я выберу звонкий, как бубен, кавун —
И ножиком вырежу сердце...

Пустынное солнце садится в рассол,
И выпихнут месяц волнами...
Свежак задувает!
Наотмашь!
Пошел!
Дубок, шевели парусами!

Густыми барашками море полно,
И трутся арбузы, и в трюме темно...

В два пальца, по-боцмански, ветер свистит,
И тучи сколочены плотно.
И ёрзает руль, и обшивка трещит,
И забраны в рифы полотна.

Сквозь волны — навылет!
Сквозь дождь — наугад!
В свистящем гонимые мыле,
Мы рыщем наощупь...
Навзрыд и не в лад
Храпят полотняные крылья.

Мы втянуты в дикую карусель.
И море топочет, как рынок,
На мель нас кидает,
Нас гонит на мель,
Последняя наша путина!

Козлами кудлатыми море полно,
И трутся арбузы, и в трюме темно...

Я песни последней еще не сложил,
А смертную слышу прохладу...
Я в карты играл, я бродягою жил,
И море приносит награду, —

Мне жизни веселой теперь не сберечь, —
И руль оторвало, и в кузове течь!..

Пустынное солнце над морем встает,
Чтоб воздуху таять и греться;
Не видно дубка, и по волнам плывет
Кавун с нарисованным сердцем...

В густой бородач ударяет бурун,
Скумбрийная стая играет,
Низовый на зыби качает кавун —
И к берегу он подплывает...

Конец путешествию здесь он найдет,
Окончены ветер и качка, —
Кавун с нарисованным сердцем берет
Любимая мною казачка...

И некому здесь надоумить ее,
Что в руки взяла она сердце мое!..

*1924*

## СТИХИ О СОЛОВЬЕ И ПОЭТЕ

Весеннее солнце дробится в глазах,
В канавы ныряет и зайчиком пляшет,
На Трубную выйдешь — и громом в ушах
Огонь соловьиный тебя ошарашит...

Куда как приятны прогулки весной:
Бредешь по садам, пробегаешь базаром!..
Два солнца навстречу: одно над землей,
Другое — расчищенным вдрызг самоваром.

И птица поет. В коленкоровой мгле
Скрывается гром соловьиного лада...
Под клеткою солнце кипит на столе —
Меж чашек и острых кусков рафинада...

Любовь к соловьям — специальность моя,
В различных коленах я толк понимаю:
За лешевой дудкой — вразброд стукотня,
Кукушкина песня и дробь рассыпная...

Ко мне продавец:
Покупаете? Вот
Как птица моя на базаре поет!
Червонец — не деньги! Берите! И дома,
В покое, засвищет она по-иному... —

От солнца, от света звенит голова...
Я с клеткой в руках дожидаюсь трамвая.
Крестами и звездами тлеет Москва,
Церквами и флагами окружает!

Нас двое!
Бродяга и ты — соловей,
Глазастая птица, предвестница лета.

С тобою купил я за десять рублей —
Черемуху, полночь и лирику Фета!

Весеннее солнце дробится в глазах,
По стеклам течет и в канавы ныряет.
Нас двое.
Кругом в зеркалах и звонках
На гору с горы пролетают трамваи.

Нас двое...
А нашего номера нет...
Земля рассолодела. Полдень допет.
Зеленою смушкой покрылся кустарник.
Нас двое...
Нам некуда нынче пойти;
Трава горячее и воздух угарней —
Весеннее солнце стоит на пути.
Куда нам пойти? Наша воля горька!
Где ты запоешь?
Где я рифмой раскинусь?
Наш рокот, наш посвист
Распродан с лотка...
Как хочешь —
Распивочно или на вынос?

Мы пойманы оба,
Мы оба — в сетях!
Твой свист подмосковный не грянет в кустах,
Не дрогнут от грома холмы и озера...
Ты выслушан.
Взвешен.
Расценен в рублях...
Греми же в зеленых кусках коленкора,
Как я громыхаю в газетных листах!..

*1925*

От черного хлеба и верной жены
Мы бледною немочью заражены...

Копытом и камнем испытаны годы,
Бессмертной полынью пропитаны воды, —
И горечь полыни на наших губах...
Нам нож — не по кисти,
Перо — не по нраву,
Кирка — не по чести,
И слава — не в славу:
Мы — ржавые листья на ржавых дубах...
Чуть ветер,
Чуть север —
И мы облетаем.
Чей путь мы собою теперь устилаем?
Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут?
Потопчут ли нас трубачи молодые?
Взойдут ли над нами созвездья чужие?
Мы — ржавых дубов облетевший уют...
Бездомною стужей уют раздуваем...
Мы в ночь улетаем!
Мы в ночь улетаем!
Как спелые звезды, летим наугад...
Над нами гремят трубачи молодые,
Над нами восходят созвездья чужие,
Над нами чужие знамена шумят...
Чуть ветер, —
Чуть север, —
Срывайтесь за ними,
Неситесь за ними,
Гонитесь за ними,
Катитесь в полях,
Запевайте в степях!
За блеском штыка, пролетающим в тучах,
За стуком копыта в берлогах дремучих.
За песней трубы, потонувшей в лесах...

*1926*

## КОНТРАБАНДИСТЫ

По рыбам, по звездам
    Проносит шаланду:
Три грека в Одессу
    Везут контрабанду.
На правом борту,
    Что над пропастью вырос:
Янаки, Ставраки,
    Папа Сатырос.
А ветер как гикнет,
    Как мимо просвищет,
Как двинет барашком
    Под звонкое днище,
Чтоб гвозди звенели,
    Чтоб мачта гудела:
— Доброе дело!
    Хорошее дело!
Чтоб звезды обрызгали
    Груду наживы:
Коньяк, чулки
    И презервативы...
Ай, греческий парус!
    Ай, Черное море!
Ай, Черное море...
    — Вор на воре.

. . . . . . . . .

Двенадцатый час —
    Осторожное время.
Три пограничника!
    Ветер и темень.
Три пограничника,
    Шестеро глаз,
Шестеро глаз
    Да моторный баркас...
Три пограничника!

Вор на дозоре!
Бросьте баркас
В басурманское море,
Чтобы вода
Под кормой загудела:
— Доброе дело!
Хорошее дело!
Чтобы по трубам,
В ребра и винт,
Виттовой пляской
Двинул бензин.
Ай, звездная полночь!
Ай, Черное море!
Ай, Черное море!
— Вор на воре!

. . . . . . . . . .

Вот так бы и мне
В налетающей тьме
Усы раздувать,
Развалясь на корме,
Да видеть звезду
Над бушпритом склоненным,
Да голос ломать
Черноморским жаргоном,
Да слушать сквозь ветер,
Холодный и горький,
Мотора дозорного
Скороговорки!
Иль правильней, может,
Сжимая наган,
За вором следить,
Уходящим в туман...
Да ветер почуять,
Скользящий по жилам,
Вослед парусам,
Что летят по светилам...
И вдруг неожиданно

Встретить во тьме
Усатого грека
На черной корме...
Так бей же по жилам,
Кидайся в края,
Бездомная молодость,
Ярость моя!
Чтоб звездами сыпалась
Кровь человечья,
Чтоб выстрелом рваться
Вселенной навстречу,
Чтоб волн запевал
Оголтелый народ,
Чтоб злобная песня
Коверкала рот, —
И петь, задыхаясь,
На страшном просторе:
Ай, Черное море,
Хорошее море!..

*1927*

## ВЕСНА

В аллеях столбов,
По дорогам перронов —
Лягушечья прозелень
Дачных вагонов;
Уже окунувшийся
В масло по локоть
Рычаг начинает
Акать и окать...
И дым оседает
На вохре откоса,
И рельсы бросаются
Под колеса...
Приклеены к стеклам
Влюбленные пары, —
Звенит палисандр
Дачной гитары:
— Ах! Вам не хотится ль
Под ручку пройтиться?
— Мой милый. Конечно.
Хотится. Хотится!..
А там, над травой,
Над речными узлами
Весна развернула
Зеленое знамя, —
И вот из коряг,
Из камней, из расселин
Пошла в наступленье
Свирепая зелень...
На голом прутье,
Над водой невеселой
Гортань продувают
Ветвей новоселы...
Первым дроздом
Закликают леса,

Первою щукой
Стреляют плеса;
И звезды
Над первобытной тишью
Распороты первой
Летучей мышью...

Мне любы традиции
Жадной игры:
Гнездовья, берлоги,
Метанье икры...
Но я — человек.
Я — не зверь и не птица;
Мне тоже хотится
Под ручку пройтиться;
С площадки нырнуть,
Раздирая пальто,
В набитое звездами
Решето...
Чтоб, волком трубя
У бараньего трупа,
Далекую течку
Ноздрями ощупать;
Иль в черной бочаге,
Где корни вокруг,
Обрызгать молоками
Щучью икру;
Гоняться за рыбой,
Кружиться над птицей,
Сигать кожаном
И бродить за волчицей;
Нырять, подползать
И бросаться в угон, —
Чтоб на сто процентов
Исполнить закон;
Чтоб видеть воочью:
Во славу природы

Раскиданы звери,
    Распахнуты воды, —
И поезд, крутящийся
    В мокрой траве, —
Чудовищный вьюн
    С фонарем в голове!..
И поезд от похоти
    Воет и злится:
— Хотится! Хотится!
    Хотится! Хотится!

*1927*

# ДУМА ПРО ОПАНАСА

Посіяли гайдамаки
В Україні жито,
Та не вони його жали,
Що мусим робити.

**Т. Шевченко,**
**«Гайдамаки»**

## 1.

По откосам виноградник
Хлопочет листвою,
Где бежит Панько из Балты
Дорогой степною.
Репухи кусают ногу,
Свищет житом пажить,
Звездный Воз ему дорогу
Оглоблями кажет.
Звездный Воз дорогу кажет
В поднебесьи чистом
На дебелые хозяйства
К немцам-колонистам.
Опанасе, не дай маху,
Оглянись толково, —
Видишь черную папаху
У сторожевого?
Знать, от совести нечистой
Ты бежал из Балты,
Топал к Штолю-колонисту,
А к Махне попал ты!
У Махна по самы плечи
Волосня густая.
— Ты откуда, человече,
Из какого края?
В нашу армию попал ты

Волей иль неволей?
— Я, батько, бежал из Балты
К колонисту Штолю.
Ой, грызет меня досада,
Крепкая обида!
Я бежал из продотряда
От Когана-жида.
По оврагам и по скатам
Коган волком рыщет,
Залезает носом в хаты,
Которые чище.
Глянет влево, глянет вправо,
Засопит сердито:
— Выгребайте из канавы
Спрятанное жито! —
Ну, а кто подымет бучу —
Не шуми, братишка:
Усом в мусорную кучу,
Расстрелять — и крышка!..
Чернозем потек болотом
От крови и пота,
Не хочу махать винтовкой,
Хочу на работу!
Ой, батько, скажи на милость
Пришедшему с поля,
Где хозяйство поместилось
Колониста Штоля?
— Штоль? Который, человече?
Рыжий да щербатый?
Он застрелен недалече,
За углом от хаты...
А тебе дорога вышла
Бедовать со мною.
Повернешь обратно дышло —
Пулей рот закрою!
Дайте шубу Опанасу
Сукна городского!

Поднесите Опанасу
Вина молодого!
Сапоги подколотите
Кованым железом!
Дайте шапку, наградите
Бомбой и обрезом!
Мы пойдем с тобой далече —
От края до края!.. —
У Махна по самы плечи
Волосня густая...

Опанасе, наша доля
Машет саблей ныне, —
Зашумело Гуляй-Поле
По всей Украине.
Украина! Мать родная!
Жито молодое!
Опанасу доля вышла
Бедовать с Махною.
Украина! Мать родная!
Молодое жито!
Шли мы раньше в запорожцы,
А теперь — в бандиты!

2.

Зашумело Гуляй-Поле
От страшного пляса, —
Ходит гоголем по воле
Скакун Опанаса.
Опанас глядит картиной
В папахе косматой,
Шуба с мертвого раввина
Под Гомелем снята.
Шуба — платье меховое —
Распахнута — жарко!
Френч английского покроя
Добыт за Вапняркой.

На руке с нагайкой крепкой —
Жеребячье мыло;
Револьвер висит на цепке
От паникадила.
Опанасе, наша доля
Туманом повита, —
Хлеборобом хочешь в поле,
А идешь — бандитом!
Полетишь дорогой чистой,
Залетишь в ворота;
Бить жидов и коммунистов —
Легкая работа!
А Махно спешит в тумане
По шляхам просторным
В монастырском шарабане,
Под знаменем черным.
Стоном стонет Гуляй-Поле
От страшного пляса, —
Ходит гоголем по воле
Скакун Опанаса...

3.

Хлеба собрано не много —
Не скрипеть подводам.
В хате ужинает Коган
Житняком и медом.
В хате ужинает Коган,
Молоко хлебает,
Большевицким разговором
Мужиков смущает:
— Я прошу ответить честно,
Прямо, без уклона,
Сколько в волости окрестной
Варят самогона?
Что посевы? Как налоги?
Падают ли овцы? —
В это время по дороге

Топают махновцы...
По дороге пляшут кони,
В землю бьют копыта.
Опанас из-под ладони
Озирает жито.
Полночь сизая, степная
Встала пред бойцами,
Издалека темь ночная
Тлеет каганцами.
Брешут псы сторожевые,
Запевают певни.
Холодком передовые
Въехали в деревню.
За церковною оградой
Лязгнуло железо.
— Не разыщешь продотряда:
В доску перерезан! —
Хуторские псы, пляшите
На гремучей стали:
Словно перепела в жите,
Когана поймали.
Повели его дорогой
Сизою, степною, —
Встретился Иосиф Коган
С Нестором Махною!
Поглядел Махно сурово,
Покачал башкою,
Не сказал Махно ни слова,
А махнул рукою!
Ой, дожил Иосиф Коган
До смертного часа,
Коль сошлась его дорога
С путем Опанаса!..
Опанас отставил ногу,
Стоит и гордится:
— Здравствуйте, товарищ Коган,
Пожалуйте бриться!

4.

Тополей седая стая,
Воздух тополиный...
Украина, мать родная,
Песня-Украина!..
На твоем степном раздольи
Сиромаха скачет,
Свищет перекати-поле
Да ворона крячет...
Всходит солнце боевое
Над степной дорогой,
На дороге нынче двое —
Опанас и Коган.
Над пылающим порогом
Зной дымит и тает;
Комиссар товарищ Коган,
Барахло скидает...
Растеклось на белом теле
Солнце молодое.
— Нá, Панько. Когда застрелишь,
Возьмешь остальное!
Пары брюк не пожалею,
Пригодятся дома, —
Всё же бывший продармеец,
Хороший знакомый!.. —
Всходит солнце боевое,
Кукурузу сушит,
В кукурузе ветер воет
Опанасу в уши:
— За волами шел когда-то,
Воевал солдатом...
Ты ли в сахарное утро
В степь выходишь катом —
И раскинутая в плясе
Голосит округа:
— Опанасе! Опанасе!

Катюга! Катюга! —
Верещит бездомный копец
Под облаком белым:
— С безоружным биться, хлопец,
Последнее дело! —
И равнина волком воет,
От Днестра до Буга,
Зверем, камнем и травою:
— Катюга! Катюга! —
Не гляди же, солнце злое,
Опанасу в очи:
Он грустит, как с перепоя,
Убивать не хочет...
То ль от зноя, то ль от стона
Подошла усталость.
Повернулся:
— Три патрона
В обойме осталось...
Кровь — постылая обуза
Мужицкому сыну...
Утекай же в кукурузу —
Я выстрелю в спину!
Не свалю тебя ударом,
Разгуливай с Богом!.. —
Поправляет окуляры,
Улыбаясь, Коган.
— Опанас, работай чисто,
Мушкой не моргая.
Неудобно коммунисту
Бегать, как борзая!
Прямо кинешься — в тумане
Омуты речные,
Вправо — немцы-хуторяне,
Влево — часовые!
Лучше я погибну в поле,
От пули бесчестной!..

Тишина в степном раздольи,
Только выстрел треснул,
Только Коган дрогнул слабо,
Только ахнул Коган, —
Начал сваливаться набок,
Падать понемногу...
От железного удара
Над бровями сгусток,
Поглядишь за окуляры —
Холодно и пусто...
С Черноморья по дорогам
Пыль несется плясом,
Носом в пыль зарылся Коган
Перед Опанасом...

5.

Где широкая дорога,
Вольный плес днестровский, —
Кличет у Попова лога
Командир Котовский.
Он долину озирает
Командирским взглядом,
Жеребец под ним играет
Белым рафинадом.
Жеребец подымет ногу,
Опустит другую,
Будто пробует дорогу,
Дорогу степную.
А по каменному склону
Из Попова лога
Вылетают эскадроны
Прямо на дорогу...
От приварка рожи гладки,
Поступь удалая,
Амуниция в порядке,
Как при Николае.
Головами крутят кони,

Хвост по ветру стелют:
За Махной идет погоня
Аккурат неделю.

Не шумит над берегами
Молодое жито, —
За чумацкими возами
Прячутся бандиты.
Там, за жбаном самогона,
В палатке дерюжной,
С атаманом забубенным
Толкует бунчужный:
— Надобно с большевиками
Нам принять сраженье.
Покрутись перед полками,
Дай распоряженье!.. —
Как батько с размаху двинул
По столу рукою,
Как батько с размаху грянул
По земле ногою:
— Ну-ка, выдай перед боем
Пожирнее пищу,
Ну-ка, выбей перед боем
Ты из бочек днища!
Чтобы руки к пулеметам
Сами прикипели,
Чтобы хлопцы из-под шапок
Коршуньем глядели!
Чтобы порох задымился
Над водой днестровской,
Чтобы с горя удавился
Командир Котовский!..

Прыщут стрелами зарницы,
Мгла ползет в ухабы,
Брешут рыжие лисицы
На чумацкий табор.

За широким ревом бычьим —
Смутно изголовье;
Див сулит полночным кличем
Гибель Приднестровью.
А за темными возами,
За чумацкой сонью,
За ковыльными чубами,
За крылом вороньим,
Омываясь горькой тенью,
Встало над землею
Солнце нового сраженья —
Солнце боевое...

6.

Ну, и взялися ладони
За сабли кривые,
На дыбы взлетают кони,
Как вихри степные.
Кони стелются в разбеге
С дорогою вровень —
На чумацкие телеги,
На морды воловьи.
Ходит ветер над возами,
Широкий, бойцовский,
Казакует пред бойцами
Григорий Котовский...
Над конем играет шашка
Проливною силой,
Сбита красная фуражка
На бритый затылок.
В лад подпрыгивают плечи
От конского пляса...
Вырывается навстречу
Гривун Опанаса.
— Налетай, конек мой дикий,
Копытами двигай,
Саблей, пулей или пикой

Добудем комбрига!..
Налетели и столкнулись,
Сдвинулись конями,
Сабли враз перехлестнулись
Кривыми ручьями...
У комбрига боевая
Душа занялася,
Он с налета разрубает
Саблю Опанаса.
Рубанув, откинул шашку,
Грозится глазами.
— Покажи свою замашку
Теперь кулаками! —
У комбрига мах ядреный,
Тяжелей свинчатки,
Развернулся — и с разгону
Хлобысть по сопатке!..

Опанасе, что с тобою?
Поник головою...
Повернулся, покачнулся,
В траву сковырнулся...
Глаз над левою скулою
Затек синевою...
Молча падает на спину,
Ладони раскинул...

Опанасе, наша доля
Развеяна в поле!..

7.

Балта — городок приличный,
Городок — чтó надо:
Нет нигде румяней вишни,
Слаще винограда.
В брынзе, в кавунах, в укропе
Звонок день базарный;
Голубей гоняет хлопец

С каланчи пожарной...
Опанасе, не гадал ты
В ковыле раздольном,
Что поедешь через Балту
Трактом малахольным:
Что тебе вдогонку бабы
Затоскуют взглядом,
Что пихнет тебя у штаба
Часовой прикладом...
Ой, чумацкие просторы —
Горькая потеря!..
Коридоры в коридоры,
В коридорах — двери.
И по коридорной пыли,
По глухому дому
Опанаса проводили
На допрос к штабному.
А штабной имел к допросу
Старую привычку —
Предлагает папиросу,
Зажигает спичку.
— Гражданин, прошу по чести
Говорить со мною.
Долго ль вы шатались вместе
С Нестором Махною?
Отвечайте без обмана,
Не испуга ради:
Сколько сабель и тачанок
У него в отряде?
Отвечайте, но не сразу,
А подумав малость:
Сколько в основную базу
Фуража вмещалось?
Вам знакома ли округа,
Где он банду водит?
— Что́ я знал: коня, подпругу,
Саблю да поводья...

Как дрожала даль степная,
Не сказать словами:
Украина — мать родная —
Билась под конями!
Как мы шли в колесном громе,
Так, что небу жарко,
Помнят Гайсин и Житомир,
Балта и Вапнярка!..
Наворачивала удаль
В дым, в жестянку, в Бога!..
...Одного не позабуду:
Как скончался Коган...
Разлюбезною дорогой
Не пройдутся ноги,
Если вытянулся Коган
Поперек дороги...
Ну, штабной, мотай башкою,
Придвигай чернила:
Этой самою рукою
Когана убило!..
Погибай же, Гуляй-Поле,
Молодое жито!..

Опанасе, наша доля
Туманом повита!..

8.

Опанас, шагай смелее,
Гляди веселее!
Ой, не гикнешь, ой, не топнешь,
В ладони не хлопнешь!
Пальцы дружные ослабли,
Не вытащат сабли.
Наступил последний вечер,
Покрыть тебя нечем!
Опанас, твоя дорога —
Не дальше порога.

Что́ ты видишь? Что́ ты слышишь?
Что́ знаешь? Чем дышишь?
Ночь, горячая, сухая,
Да темень сарая.
Тлеет лампочка под крышей...
Эй, голову выше!..
А навстречу над порогом —
Загубленный Коган.
Аккуратная прическа
И щеки из воска...
Улыбается сурово:
— Приятель, здоро́во!
Где нам суждено судьбою
Столкнуться с тобою!
Опанас, твоя дорога —
Не дальше порога...

### Эпилог

Протекли над Украиной
Боевые годы.
Отшумели, отгудели
Молодые воды...
Я не знаю, где зарыты
Опанаса кости:
Может, под кустом ракиты,
Может, на погосте...
Плещет крыжень сизокрылый
Ходит слава над могилой,
Над водой днестровской,
Где лежит Котовский...
За бандитскими степями
Не гремят копыта,
Над горючими костями
Зацветает жито.
Над костями голубеет
Непроглядный омут;

Да идет красноармеец
На побывку к дому...
Остановится и глянет
Синими глазами
На бездомный круглый камень,
Вымытый дождями.
И нагнется, и подымет
Одинокий камень:
На ладони — белый череп
С дыркой над глазами.
И промолвит он, почуяв
Мертвую прохладу:
— Ты глядел в глаза винтовке,
Ты погиб как надо!
И пойдет через равнину,
Через омут зноя
В молодую Украину,
В жито молодое...

Так пускай и я погибну
У Попова лога —
Той же славною кончиной,
Как Иосиф Коган!..

*1926*

# VI

# Николай Семенович ТИХОНОВ

Родился в 1896 г. в семье ремесленника. Учился в торговой школе. Восемнадцати лет пошел добровольцем на прибалтийский фронт рядовым гусаром. Во время гражданской войны был на стороне красных под Петроградом. Перепробовал несколько профессий. В 1922 г. вышли две книги стихов — «Орда» и «Брага». Примыкал к литературной группе «Серапионовы братья». В 1935 г. ездил во Францию на антифашистский конгресс, после чего выпустил книгу стихов «Тень друга». Написал несколько книг прозы. Много путешествовал по России. Сборники и циклы: «Юрга», «Стихи о Кахетии», «Горы» и др. Во время второй мировой войны был на ленинградском фронте. После войны ездил в Югославию и в Болгарию. Имеет несколько орденов. С 1944-го по 1946-й год был председателем Союза советских писателей, но снят за «попустительство» Зощенко и Ахматовой.

## ДАВИД

...Марата нет...

Париж перетолпился у окна.
— Художник, ты позолотишь нам горе,
Он с нами жил, оставь его для нас —
И смерть Давид надменно переспорил.

Зелено-синий мягкий карандаш
Уже с лица свинцового не стравишь,
Но кисть живет, но кисть поет: — отдашь!
Того возьмешь, но этого оставишь!

И смолкнул крик и топот площадей...
Триумф молчанья нестерпимо жуток.
— Какую плату хочет чудодей?
— Я спать хочу, без сна я трое суток.

Он говорит, усталость раздавив,
Но комиссары шепчутся с заботой:
— Добро тебе, — но, гражданин Давид,
Зачем рука убийцы патриота?

— Шарлотта — неразумное дитя,
И след ее с картины мною изгнан,
Но так хорош блеск кости до локтя,
Темновишневой густотой обрызган.

*1919*

Хотел я ветер ранить колуном,
Но промахнулся и разбил полено.
Оно лежало, теплое, у ног,
Как спящий, наигравшийся ребенок.
Молчали стены, трубы не дымили,
У ног лежало дерево и стыло.

И я увидел, как оно росло,
Зеленое, кудрявое, что мальчик,
И слаще молока дожди поили
Его бесчисленныые губы. Пальцы
Играли с ветром, с птицами. Земля
Пушистее ковра под ним лежала.

Не я убил его, не я пришел
Над ним ругаться, ослепить и бросить
Кусками белыми в холодный ящик.
Сегодня я огнем его омою,
Чтоб руки греть над трупом и смеяться
С высокой девушкой, что — больно думать —
Зеленой тоже свежести полна.

*1919*

Праздничный, веселый, бесноватый,
С марсианской жаждою творить,
Вижу я, что небо небогато,
Но про землю стоит говорить.

Даже породниться с нею стоит,
Снова глину замешать огнем,
Каждое желание простое
Освятить неповторимым днем.

Так живу, а если жить устану
И запросится душа в траву,
И глаза, не видя, в небо взглянут, —
Адвокатов рыжих позову.

Пусть найдут в законах трибуналов
Те параграфы и те года,
Что в земной дороге растоптала
Дней моих разгульная орда.

*1920*

Огонь, веревка, пуля и топор,
Как слуги, кланялись и шли за нами,
И в каждой капле спал потоп,
Сквозь малый камень прорастали горы,
И в прутике, раздавленном ногою,
Шумели чернорукие леса.

Неправда с нами ела и пила,
Колокола гудели по привычке,
Монеты вес утратили и звон,
И дети не пугались мертвецов.
Тогда впервые выучились мы
Словам прекрасным, горьким и жестоким.

*1921*

---

Мы разучились нищим подавать,
Дышать над морем высотой соленой,
Встречать зарю и в лавках покупать
За медный мусор — золото лимонов.

Случайно к нам заходят корабли,
И рельсы груз проносят по привычке,
Пересчитай людей моей земли —
И сколько мертвых встанет в перекличке.

Но всем торжественно пренебрежем.
Нож сломанный в работе не годится,
Но этим черным сломанным ножом
Разрезаны бессмертные страницы.

*1921*

Наши комнаты стали фургонами,
Заскрипели колес обода —
А внизу волосами зелеными
Под луною играет вода.

И мы едем мостами прозрачными
По земле и по небу вперед.
Солнце к окнам щеками кумачными
Прижимается и поет.

В каждом сердце — июльский улей
С черным медом и белым огнем —
Точно мы впервые согнули
Свои головы над ручьем.

Мы не знаем, кто наш вожатый,
И куда фургоны спешат,
Но, как птица из рук разжатых,
Ветер режет крылом душа.

*1921*

## АНГЛИЯ

Старый дьявол чистит ногти пемзой,
С меловых утесов вниз плюет,
И от каждого плевка над Темзой
Гулкий вырастает пароход.

Тащится потом, хромая, в гости
К жесткокосой, бледнощекой мисс,
И без проигрыша бросает кости
Пальцами увертливее крыс.

Из дубовых вырубать обрубков
Любит он при запертых дверях
Капитанов с компасом и трубкой
И купцов со счетами в руках.

И они уверенно, нескоро,
В мире побежденном утвердят
Свой уют каюты и конторы,
И дубовых наплодят ребят.

*1921*

Длинный путь. Он много крови выпил.
О, как мы любили горячо —
В виселиц качающемся скрипе
И у стен с отбитым кирпичом.

Этого мы не расскажем детям,
Вырастут и сами всё поймут,
Спросят нас, но губы не ответят,
И глаза улыбки не найдут.

Показав им, как земля богата,
Кто-нибудь ответит им за нас:
«Дети мира, с вас не спросят платы,
Кровью всё откуплено сполна».

*1921*

## БАЛЛАДА О ГВОЗДЯХ

Спокойно трубку докурил до конца,
Спокойно улыбку стер с лица.

«Команда, во фронт! Офицеры, вперед!»
Сухими шагами командир идет.

И снова равняются в полный рост:
«С якоря в восемь. Курс — ост.

У кого жена, дети, брат, —
Пишите, мы не придем назад.

Зато будет знатный кегельбан».
И старший в ответ: «Есть, капитан».

А самый дерзкий и молодой
Смотрел на солнце над водой.

«Не всё ли равно, — сказал он, — где?
Еще спокойней лежать в воде».

Адмиральским ушам простукал рассвет:
«Приказ исполнен. Спасенных нет».

Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей.

*1922*

Не заглушить, не вытоптать года, —
Стучал топор над необъятным срубом.
И вечностью каленая вода
Вдруг обожгла запекшиеся губы.

Владеть крылами ветер научил,
Пожар шумел и делал кровь янтарной,
И брагой темной путников в ночи
Земля поила благодарно.

И вот под небом, дрогнувшим тогда,
Открылось в диком и простом убранстве,
Что в каждом взоре пенится звезда
И с каждым шагом ширится пространство!

*1922*

## ПЕСНЯ ОБ ОТПУСКНОМ СОЛДАТЕ

Батальонный встал и сухой рукой
Согнул пополам камыш:
«Так отпустить проститься с женой,
Она умирает, говоришь?

Без тебя винтовкой меньше одной, —
Не могу отпустить. Погоди:
Сегодня ночью последний бой.
Налево кругом — иди!»

...Пулемет задыхался, хрипел, бил,
И с флангов летел трезвон,
Одиннадцать раз в атаку ходил
Отчаянный батальон.

Под ногами утренних лип
Уложили сто двадцать в ряд.
И табак от крови прилип
К рукам усталых солдат.

У батальонного по лицу
Красные пятна горят,
Но каждому мертвецу
Сказал он: «Спасибо, брат!»

Рукою, острее ножа,
Видели все егеря,
Он каждому руку пожал,
За службу благодаря.

Пускай гремел их ушам
На другом языке отбой,
Но мертвых руки по швам
Равнялись сами собой.

«Слушай, Денисов Иван!
Хоть ты уж не егерь мой,
Но приказ по роте дан,
Можешь итти домой».

Умолкли все — под горой
Ветер, как пес, дрожал.
Сто девятнадцать держали строй,
А сто двадцатый встал.

Ворон сорвался, царапая лоб,
Крича, как человек.
И дымно смотрели глаза в сугроб
Из-под опущенных век.

И лошади стали трястись и ржать,
Как будто их гнали с гор,
И глаз ни один не смел поднять,
Чтобы взглянуть в упор.

Уже тот далеко ушел на восток,
Не оставив на льду следа,
Сказал батальонный, коснувшись щек:
«Я, кажется, ранен. Да!»

*1922*

## ЛОДКА

Кустарник стаял. Поредели сосны,
На неожиданном краю земли
Лежала лодка в золотых осколках
Последнего, разбившегося солнца.
Ни голоса, ни следа, ни тропы —
Кривая лодка и блестевший лед. —
Как будто небо под ноги легло.

Лед звал вперед, сиял и улыбался
Большими белыми глазами — лед!
И мы пошли, и мы ушли б, но лодка —
Она лежала строго на боку,
Вечерние, погнувшиеся доски
Нам говорили: «Здесь конец земли».

За черным мысом вспыхнуло сиянье,
И золото в свинец перелилось.

Ты написала на холодной льдине —
Не помню я, и лед и небеса
Не помнят тоже, что ты написала.
Теперь та льдина в море, далеко
Плывет и дышит глубоко и тихо,
Как этот вечер в золотых осколках
Плывет в груди...

*1922*

## ЧЕЛОВЕК С СЕВЕРА

Они верили в то, что радость птица,
И радость била большим крылом,
Под ногами крутилась черной лисицей,
Вставала кустами, ложилась льдом.
Лед пылью слепящей, сухой и колкой,
Этот снившийся путь не во сне, не во сне окружил —
Так плечо о плечо, — а навстречу сугробы и елки,
А навстречу сторожка у сосновой бежит межи.
Кто войдет в нее — сам приготовит ужин,
Разбуянит огонь и уж больше ночей не спит,
И кровь его смешана с ветром, с вьюжной тяжелой стужей,
Долгою зимнею песней неудержимо стучит.
Ночная земля осыпана снегом и хмелем,
Мы отданы ей, мы земному верны мятежу —
В расплавленной солнцем Венецуэле
Пальмовым людям когда-нибудь всё расскажу:
О сердцах, о глазах больших и тревожных,
О крае моем, где только зима, зима,
О воде, что, как радость земную, можно
Синими кусками набить в карман.
И люди поверят и будут рады,
Как сказкам, поверят ледяным глазам,
Но за все рудники, стада, поля, водопады
Твое имя простое — я не отдам.

*1922*

# УТРО

В глазах еще дымился сон,
И так рассеянно шатались ноги,
Как будто бы не шли они со мною,
А еще спали на полу, в гостиной,
Перед потухшей изразцовой печью.

И я сказал приятелю: «Смотри!»
Но, может, не сказал, а только вспомнил,
Да и приятель сразу же пропал.
Река шипела утренним свинцом,
Подпрыгивая, кладь везли тележки,
Ползли в тумане длинные трамваи,
Мальчишки продавали папиросы.

И я купил, не знаю сам, зачем —
Затем, быть может, чтоб с потухшей спичкой
Минуту можно было постоять,
Еще одну минуту у подъезда
Того большого пасмурного дома,
Где я оставил лучшего себя...

А может, это только показалось?

*1922*

## ВЕТЕР

Вперебежку, вприпрыжку, по перекрытым
Проходам рынка, хромая влет —
Стеной, бульваром, газетой рваной,
Еще недочитанной, недораскрытой,
Вчера родилась — сейчас умрет.

Над старой стеною часы проверив,
У моря отрезал углы как раз.
Ты помнишь ветер над зимним рассветом,
Что прыгал, что все перепутывал сети,
Что выкуп просил за себя и за нас?

Сегодня он тот же в трубе и, редея,
Рассыпался в цепь, как стрелки, холодея,
И, грудью ударив, растаял, как залп.
Но что б он сказал, залетев в наши стены,
Мы квиты с ним, правда, но что б он сказал?

*1923*

Судьбы не читал я в летящих глазах,
В твоих, где меняется дым,
Как крик игрока над изломом туза,
Как в полночь и в полночь — сады.

Где площадь простукал рысак, захромав,
Подкованный радости след
Остался доныне, беззвучно припав
К голодной и синей земле.

Так память гудела, сползая в овраг,
Я видел тот медленный гул,
Как черные листья, как черный кушак,
Забытый во сне на снегу.

Где каменных волн пожелтелый прибой
Над волнами взморья иссяк,
Мы слушали долгие звезды с тобой,
Не слушать их было нельзя.

Их пенье не стоит труда проверять,
Размером иль нотой губя,
Но встала неслышно заря, якоря
Бросая в глазах у тебя.

*1923*

## ГУЛЛИВЕР ИГРАЕТ В КАРТЫ

В глазах Гулливера азарта нагар,
Коньяка и сигар лиловые путы, —
В ручонки зажав коллекции карт,
Сидят перед ним лилипуты.

Пока банкомет разевает зев,
Крапленой колодой сгибая тело,
Вершковые люди, манжеты надев,
Воруют из банка мелочь.

Зависть колет их поясницы,
Но счастьем Гулливер увенчан, —
В кармане, прически помяв, толпится
Десяток выигранных женщин.

Что с ними делать, если у каждой
Тело, как пуха комок,
А в выигранном доме нет комнаты даже
Такой, чтобы вбросить сапог.

Тут счастье с колоды снимает кулак,
Оскал Гулливера, синея, худеет,
Лакеи в бокалы качают коньяк,
На лифтах лакеи вздымают индеек.

Досадой наполнив жилы круто,
Он — гордый — щелкает бранью гостей,
Но дом отбегает опять к лилипутам,
От женщин карман пустеет.

Тогда, осатанев от винного пыла,
Сдувая азарта лиловый нагар,
Встает, занося под небо затылок:
«Опять плутовать, мелюзга!»

И, плюнув на стол, где угрюмо толпятся
Дрянной, мелконогой земли шулера,
Шагнув через город, уходит шататься,
Чтоб завтра вернуться и вновь проиграть.

*1926*

Газетчик в толпе, пожелавший пустыни,
В пустыне сходящий с ума инженер —
Любовник, встающий с постели, где стынет
Ему опостылевшей страсти пример.

Любое движенье становится куклой,
Опилки трясущей во мраке мешка,
Так это ж оно — испытание скукой,
Никем не раскрытая власть столбняка.

Как будто луна и в снегах полустанок,
К нему, напрягая всю волю свою,
Бредешь и плутаешь, и весь наизнанку,
Сломав испытанье — сидишь на краю
Платформы унылой, как полночь в раю...

*1927*

## СЕНТЯБРЬ

Едва плеснет в реке плотва,
Листва прошелестит едва,
Как будто дальний голос твой
Заговорил с листвой.

И тоньше листья, чем вчера,
И суше трав пучок,
И стали смуглы вечера,
Твоих смуглее щек.

И мрак вошел в ночей кольцо,
Неотвратимо прост,
Как будто мне закрыл лицо
Весь мрак твоих волос.

*1937*

Как след весла, от берега ушедший,
Как телеграфной рокоты струны,
Как птичий крик, гортанный, сумасшедший,
Прощающийся с нами до весны,

Как радио, которых не услышат,
Как дальний путь почтовых голубей,
Как этот стих, что, задыхаясь, дышит,
Как я — в бессонных думах о тебе, —

Но это всё одной печали росчерк,
С которой я поистине дружу,
Попросишь ты: скажи еще попроще,
И я еще попроще расскажу.

Я говорю о мужестве разлуки,
Чтобы слезам свободы не давать,
Не будешь ты, заламывая руки,
Белее мела, падать на кровать.

Но ты, моя чудесная тревога,
Взглянув на небо, скажешь иногда:
Он видит ту же лунную дорогу
И те же звезды, словно изо льда!

*1938*

Ты не думай о том, как тоскую я в городе зимнем,
И высокие брови не хмурь на чернеющий снег,
Ты со мною всегда, и в снегах, и под пламенным
ливнем,
Улыбнись, моя гордость, ты поедешь навстречу весне.
Ты увидишь ручьи, как впервые, мальчишески рыжие
рощи,
И взъерошенных птиц, и травы полусонный узор.
Всё, что снится тебе, будет сниться теплее и проще,
Ты любимое платье наденешь для синих озер.
Ты пойдешь вдоль канала, где барки над тихой водою,
Отдохнешь среди улиц, где тихо каштаны цветут,
Ты очнешься одна — в тишине, далеко, чуть усталой,
простой, молодою,
Удивленно впивая такой тишины чистоту.

*1938*

---

Я снова посетил Донгузорун,
Где лед светил в реки седой бурун.

Остры, свежи, висели вкруг снега.
Я видел: жизнь моя опять строга.
И я опять порадовался ей,
Что можно спать в траве среди камней,

И ставить ногу в пенистый поток,
И знать тревогу каменных берлог.
В глуши угрюмой, лежа у костра,
Перебирать все думы до утра.

И на заре, поднявшись на локте,
Увидеть мир, где все цвета не те...

*(1938-40)*

Женщина в дверях стояла,
В закате с головы до ног,
И пряжу черную мотала
На черный свой челнок.

Рука блеснет и снова ляжет,
Темнея у виска,
Мотала жизнь мою, как пряжу,
Горянки той рука.

И бык, с травой во рту шагая,
Шел снизу в этот дом,
Увидел красные рога я
Под черным челноком.

Заката уголь предпоследний,
Весь раскален, дрожал.
Между рогов — аул соседний
Весь целиком лежал.

И сизый пар, всползая кручей,
Домов лизал бока,
И не было оправы лучше
Косых рогов быка.

Но дунет ветер, леденея,
И кончится челнок,
Мелькнет последний взмах, чернея,
Последней шерсти клок...

Вот торжество неодолимых
Простых высот.
А песни что? Их тонким дымом
В ущелье унесет.

*(1938-40)*

Каких рассказов вас потешить
Такой бродяжьей пестротой,
Такой веселостью нездешней,
Такой нелепой прямотой, —
Чтоб вы могли уже в постели,
Упав лицом в подушек снег,
Одна зеленой их метели
Легко смеяться в полусне...

*(1940)*

Мерзлый вереск, мерзлый вереск,
Ты звенишь прибоем,
Пред тобою черный берег,
Опаленный боем.

Мерзлый вереск, мерзлый вереск,
Ты звенишь печально,
Над тобою сумрак серый,
Запах гари дальней.

Брат наш вереск, мерзлый вереск,
Лег ты в изголовье,
Мы тебя согреем, вереск,
Нашей кровью.

Ты впитаешь ее, вереск,
Выпьешь в полной мере.
Ты оттаешь, мерзлый вереск,
Мерзлый вереск...*)

*(1940)*

***) Примечание составителя:** Написано на фронте во время финских событый.

# Илья Львович СЕЛЬВИНСКИЙ

Родился в 1899 г. в семье меховщика в Симферополе. Учился в католической монастырской школе в Константинополе, потом в евпаторийской гимназии. Участвовал в гражданской войне. Был моряком; работал на заводе, чтобы попасть в Московский университет. Первая книга стихов — «Рекорды» (1926). Возглавлял группу конструктивистов. Оснавные произведения: поэма «Улялаевщина» (1927), пьеса «Командарм 2» (1929), поэма «Пушторг» (1929) и пьеса «Пао-Пао» (1932).

## ПИСЬМО

Мамоч-ка мил-дорогая
Я. Вас. Люблю.
Баушка мил-дорогая
Больше я буду

Я уже знаю буквы
Скоро мне шесть
Они наверно подарят куклу
А у меня есть

Уже больше нету места
Цлую всех вас
Эта палка и бубликов десять
Значит-мильон раз

У нас есть один мальчик
Он очень ухий
А есть который другой мальчик
Незабудущая вас
Кука.

*1921*

## ЦЫГАНСКАЯ 2-Я

Тройкой, гей, безалаберных коней
Вниз пущусь на степя с обрыва я —
Уж ты попомнишь-повыпомянешь, гей!
Ты. Красавка. Рыжая. Гривая.

По́-гля-жу, холоднылигорячи́ль
Пады́-ы ножом ваши ласки женские.
Вы грызитесь, подкидывая пыль,
Вы. Жеребцы. Мо́-и́. Оболенские.

Ай-дай да, яяда́-даяя́
Эх, и нож колыдо́ванный, кони крадены,
За́-це́-лу́ешь ты, шалая моя,
Че́рыные гу́бы́ ко́но́кра́дина́.

Прыгает к версте полосатая верста́...
Дррр, как тын, гарагачут под палочкой.
Уж ты моя ль расписная красота́а —
Горыбоно́сая, черная, галочья.

Кру́-по́м пляшет похабно коренник,
Цок серебром в передок же́-ле́-заны́й
На́ до́хе́ индевеет воротник,
Ви́хрем все лицо изре́зано́.

Эгей, сокола, золотые удила́а...
Мчитесь вы на степя приво́ляны,
Может где оброню еще до зла —
Жжгу́чую бо́ль о ней.
Гей!

*1922*

## ЦЫГАНСКИЙ ВАЛЬС НА ГИТАРЕ

Нно́чь-чи? Сон-ы. Прох?ла́дыда
Здесь в алле́йеях загалохше?го сад’ы
И доно́си́тся́ то́лико стон’ы́? гитта́оры:
Та́ратинна — та́ратинна — tan...

«Милы́лый мо-и́ — не сердься:
Не тебе мое горико?е се́рдыце —
В нем Яга навари́лыла с перы?цем я́дыды
Черыну?ю пену любави́».

«Ми́лылая́ — а сыча́сталив.
Задыхаясь задуше́н?ной страстью,
Все твои повторю за тобою́? я муу?ки
То́лико бы с се́рдыцем бы в лад».

Аха, нночь-чи? Со́наны. Прох?ладыда
Здесь в аллейеях загалохше?го сад‘ы...
И доносится то́лико стон? (эс) гит-та́рарары
Тарати́н?на
Та́ратина
Tan.

*1922*

## УЛЯЛАЕВЩИНА (Начало 3-ей главы)

Ехали каза́ки, ды ехали́ каза́ки,
Ды е́хали каза́hа?ки, чубы́ па́ губа́м.
Е́хали каза́ки ды на башке па?пахи
Ды на́б'шке папахи через Дон на́ Куба́нь.

Скулы не побриеты между-зуба́ми у́гли
Пы коленям лея навора́чивает — «Нно!» Эх.
Ко́нски́е гри́евы ды от крови? па?жухли
Ды плыло са́ло от обстре?ла в я́зві́ и гно́й.

Добре, лошади́еха, что вышла? от набе́га́
Опалило поры?хом смердючье полымё.
То́лько што́ там за́втря ды наша жизь?ка?пейка,
Ды не дорубит ша́шыка́ — дохлопнет пу́лемет.

Ко́ни-вы-коня́эги, винтовки ме́ж уша́ми.
Сивою кукушко?й перкликались подковы́.
По степу курганы, ды на курган ем?шаны
Ды на емшан «татарыки́» да си́ва́й ковы́ль

Гайда-гайда-гайда-гайда — гай да́лара́йда́
Гайдая́ра гайдади́да га́й да лара́ (свист)
По степу курганы, ды на курган ем?шаны,
Ды на емшан «тата́рыки» да си́вай коо?выль.

Конница подцокивала прямо по дороге,
Разведка рассыпалася ще за две версты.
Во́лы та верблюды, мажарины та дроги,
Пшеничные подухи, тюки холстин.

Из клеток щипалися раскормленные гуси,
Бугайская мычь, поросячье хрю.
Лязгает бунчук податаманиха Мару́ся́
В ни́колаевско́й шинели с пу́зырями брюк.

Гармоники наяривали «Яблочко», «Маруху»,
Бубенчики, глухарики, язык на дуге.
Ленты подплясывали от парного духа,
Пота, махорки, свиста — эгей...

А в самой середке, оплясанный стаей
Заёрницких бандитщиков из лучшего дерьма,
Ездиет сам батько Улялаев
На черной машине дарма.

Улялаев був такiй: выверчено вiко,
Дiрка в пидбородце тай в ухi серга.
Зроду нэ бачено такого чоловiка,
Як той батько Улялаев Серга.

А за ним воронóй-рáдужный мáсти́:
Ночь, отливающая бронзой и рудой:
Дед — араб, отец — Орел, а сама матка
Из шестой книги дворянских родов.

А за ним на возу — личная музыка:
Скрипка, бубен, гармонь да рояль,
А за ними на тачанке попка «Кузька»,
Первый по банде жидомор и враль.

А за ним — конная. Косаки, табуны́,
Кухня, палатки наря́данные. Щер-
батая дюймовочка, волчьи бунты,
Тачанки с пулеметами, зарядный ящик.

Ехали казаки та ехали́ бузуки,
Дэ своротыли — зосталося на льду
Копытска печатня, зеленая грязюка,
Навозна юшка та самогонный дух.

*1924*

## КОЛЫБЕЛЬНАЯ

За-аинька,
Заинь-ка,
Зверушонок
Маленькай,
У-такая
Зюзика,
Серенькое
Пузико.
Под
Кочку,
Под сугроб
Лапотапоточки
Топ-топ-топ.
Шухи-шухи
Перешухи,
Каплоухень-
кие ухи.
Через речку
Мостик,
Там пуховый
Хвостик.
Са-ам зайка
Егоза
Удивлена-
и глаза.

*1927*

## СЧИТАЛКА

Снег, снег, первый снег.
Чур я первый раньше всех.
Я пойду, пойду, пойду
По замерзшему пруду,
Побегу скорей потом
По пороше в Жучкин дом
И скажу ей: здравствуй, Жуча,
Я с тобою не вожуся,
На мизинчик не дружу,
Оттого что весь дрожу.
А дрожу я отчего
Оттого что ничего
Ничего что оттого что
Даже туфель нету вот что
На твоихных на ногах
Это про-
          сто:
               ах!
Первый раз такое в мире
Босиком на все четыре.
Погляди же, глупый пес,
        Выставь нос
        На мороз:
Все щенята ма-аленьки
Надевают ва-аленки
А большие собаки́
Надевают сапоги.

*1932*

## Сцена из пьесы «КОМАНДАРМ 2»*)

*Вера* (читает)
Что? «К ним стянуть по шпалере
Дивизион полевой артиллерии».
(читает, снизив тон)
«И 40 минут перехлёстом лить,
Дабы никто из болящих лиц...»
(читает про себя)

*Оконный*
Апатия... Пустота... Равнодушие...
Брызги мозга. Кровавые туши.
(Уничтоженный)
Куда бы ни двинуться, где б ни ступить —
Везде сладострастие истребленья.
Что это? Людоедство? Племя
Язычников, приносящих дары
Живою кровью? Т-тваж, некромания?
Зачем это нужно? Кому? Я старик.
Пусть. Я не спорю. Я мыслю, хромая.
Может быть.
(кричит)
Но взрывать холмы,
Горы людей, таких же, как мы,
Смысл?!.

*Вера*
Чтобы спасти других.

---

*) **Примечание составителя:** Предшествующие этой сцене события следующие: делопроизводитель штаба Оконный и секретарша Вера, из «анархо-романтических» побуждений несогласные с военной тактикой «пролетарского» командарма Чуба, задумывают авантюрный план, переодеваются лицами верховного начальства, смещают Чуба и начинают сами вести военные действия. Сцена начинается с чтения только что написанного Чубом приказа о расстреле всех сыпнотифозных красноармейцев (которых невозможно отправить в тыл), чтобы предотвратить эпидемию. Действие всей пьесы часто прерывается ироническими замечаниями конферансье.

*Оконный* А эти другие — кто?

*Вера* Тоже люди.

*Оконный* Именно — «тоже». Но те без руки.
А эти — железный кулак Революции.
Но разве она негритянский бог —
Абстракция, требующая служенья
И человечьего мяса? Ужели?
Быть может, всё ж она дело рабов,
Освобождающих свою личность?
(Перебивая её)
Знаю-знаю-знаю: ты хочешь сказать,
Что я, мол, вегетарьянец, святоша,
Что я тупорогая, тваж, коза,
Идущая в бор к медведям? Вы тоже
Могли б, дорогая, подумать о том,
Куда и зачем мы идем.
Мы с вами коммунисты.
Но ощущаем разно:
Вам важно «что», а мне, милая, «кто».
Вот я — умирающий. Жизненный ток
Меня покидает. Вшивый, заразный,
Я на глазах разлагаюсь. Что ж:
Вправе ли ты вонзить в меня нож?
Нет! Погоди-погоди-погоди:
Я еще не кончил. Цитатнице Блока
Трудно зарезать даже цыпленка —
Сердце, как уголь, торчит из груди.
Но меня смущают не кровавые пятна...
(Каак бы выразить это понятно...)
Всё относительно. Так? Представь,
Что ты и я, и стол, и шкаф,
Что вдруг весь мир умéньшился вдвое.
Чтó было б? Хор сумасшедшего воя?
Ась? Косоглазие? Мир сквозь кристалл?
Как бы не так — никаких междометий!
Да, дорогая моя, представь:

Никто бы этого не заметил.
Всё относительно. Мотылек,
Родившийся утром, чтоб ночью исчезнуть,
В полдень так же от смерти далек,
Как мы ей близки в 50. Честно?

*Вера* Честно.

*Оконный* Мир мотылька — это мыльный шар,
В котором кружáтся, как пузо, изогнутые,
Стиснутые до модели окна,
Цветною водой уносимый шарф,
Остеклённое небо и крупно: ноздри!
И заметь: этот мир, карамельный мир,
Какой-то, тваж, игрушечно острый,
Подвластен своим величинным законам
Соотносительности. И к оным
Ты ни-че-го не прибавишь.

*Вера* Аминь.

*Конферансье* С совершенным почтением. Дата. Оконный.

*Оконный* Как амбра, слитая по граненым
Узким и ледяным флаконам,
Запахом тонких духов пьянит,
Тогда как в чане смердит аммиаком —
Так выдернутая из жизней нить,
Которой в хоре досталось бы ныть, —
Звенит, как струна, и по нотным бумагам
Разбрызгивает павлиньи хвосты.
Часть огромного целого! Таянье
В зеркале отраженной звезды
Значительней подлинного колчедана,
Небесного тела.

*Конферансье* Аминь. Дата.
С приветом — Оконный.

*Вера* Так. Ну, и что ж?

*Оконный* А то, что можно ли всаживать нож
В любого, отставшего от отряда,
В сыпнотифозного, со вчера еще
В судорогах умирающего?
Ведь он же может предсмертный час
Наполнить такими богатствами жизни,
Испить из таких граалевых чаш,
Каких обывательские слизни
За все свои годы не ощутят.
Ого! Я могу еще впасть в забытьё!
И в нем на минуту найти бытие,
Пушистое, как лукошко котят.
Я в нем воскрешусь. Я смогу обнимать
Небывшую дочь, умéршую мать,
Любовницу с шопотом, шумным, как бук,
С папироской, окрашенной краской для
губ.
С властным именем Алла, Васса.
Любовницу, как телесная ваза.

*Конферансье* А вы видели духовную вазу?
Что до меня, то я ни разу.
Что? Я, быть может, смогу закурить...
И с голубым дымком в удушьи
Вызвать давно отошедшие души
Детских театров с тряпьем кулис,
Где я на одной ноге с погремушкой,
А Нина — маркиза. На губе мушка.
В зрительном зале, дух затая,
Коля и Валя, дети вдовы.
Нина: «Ах, здуавствуйте. Ах, это вы?»
Вова: «Ах, джаште. Ах, это я».

*Вера* У них были кое-какие погрешности
В области дикции.

*Оконный*
Но зато стиль!
А сколько шарма, пикантности, нежности...
Но я, т-тваж, и это тебе не отдам.
Меня принимает ветхий Адам,
Я умираю. Последний градус.
Но даже и здесь не погасла радость:
Жизнь уходит от гор и ущелий
В каплю, в пуэнтеллизм ощущений.
В дряхлой теплушке может быть щель!
Тогда мне станет казаться, что лещ
Висит на стене в своих пятиалтынных.
Он будет пахнуть пресною тиной,
Летним дождем или так, как курорт.
Я мысленно щелку обрежу квадратом,
Она превратится тогда в натюрморт —
И ночь, рассыпанная по каратам,
С подписью — «Левитан», и заря,
Алая, как попугаи Гогена.
Какой-нибудь день до адской геенны,
Какой-нибудь час — и тот не зря!!
Нет, поэт нужней инженера.
Да-да, нужней инженера поэт.
Что небо? Что зори? Их попросту нет,
Если нет у меня цветово́го нерва.
И тот же трансатлантический мост,
Корона стальная грядущих инду́стрий, —
Без путешествий, только помост,
Только столбы для колонии устриц.
Ведь, если страсть, природа, искусство,
Если, т-тваж, воспоминаний стрижи,
Всё, что вдыхаем жадно и густо,
Всё, чему радуемся, — не жизнь,
То что же она? Где же она?
Ответствуйте, дорогая жена!
Не перебивай... Когда-то Декарт
Говорил: «Cogito — ergo sum»
Так. Значит, мысль комбинации карт,
Мысль подсчета денежных сумм —

Жизнь? А я говорю ина́че:
«Sentio — ergo sum». От хат
До горностаевых коронаций
Всё живет ощущеньем. Богат?
Он в них, как в винной ванне купается.
Беден? Высасывает из пальца.

*Вера* Вот мы и боремся.

*Оконный* В самоубийстве?
В харканьи каторжного труда?

*Вера* Мы боремся за коммунизм.

*Оконный* О, да!
Мы самые крайние якобинцы, —
И непреложен железный шаг,
Неотвратим поход наш чугунный,
Трам-та́м тарара́м там-там! Так?
Но дело, веселое дело Коммуны
Мы строим с угрюмостью гробовщика.
А почему не рвется щека
Улыбкою в тридцать, тваж, два карата?
Да потому что мы любим цыфирь,
А вовсе не жизнь. Поди расфуфырь
Любой сантимент — и уж небу не рад, а?
Свист, улюлю, цитаты. Тоска.
Нужно быть гладким, как тваж...

*Вера* Как доска.
Нельзя быть марксистом, а жить по четкам.
Будьте геометрически четким.

*Оконный* (иронически) Да-да, геометрией человека...

*Вера* (подсказывая) Не знающей, что такое мозоль.

*Оконный* Но и огни!

*Вера* Это новая веха.
И в ней спасенье.

*Оконный* Ну, ну, не мусоль.

*Вера* Мы боремся за...

*Оконный* Опять буки-аз!
Людей мы не любим. Подобные тварям,
Мы рады весь мир засадить в аквариум,
Выделив про себя океан.

*Вера* Какой же вывод?

*Оконный* А вывод таков.
Мы должны выдрать скелет из мяса
И вышвырнуть его вон — сломайся!
Ибо жизнь — это мир пустяков.
Пустяков. Понимаете? Красок, блистаний,
Цвета, провинциальных таяний...

*Вера* (беря под козырёк) Ваше Высокобрюзжащее Ворчество!
Сейчас процесс социального творчества.
Нынче все мы за ратью рать
Обязаны умирать.

*Оконный* Во имя?

*Вера* Будущего человека.

*Оконный* Фью! Защелкал наш соловейко.
Ох, будущие!
(страстно)
Ненавижу их!

Не выношу их райский венец.
Нам гром свои росчерки нá сердце выжег,
В бою мы глотаем горячий свинец,
И всё ради них? Ну, а мы-то когда?
А время не ждет. Недели, года...
О, я сужу со своих, тваж, деревьев.
Я вижу, от ненависти опьянев,
Как эта банка человечьих консервов
С небрежностью энных, тваж, степеней
Нас критикует в удобном кресле:
«Стихи? Однотонны. Пьесы? Невеселы.
Наука? Предвзята. Быт? Никуда».
Но мы барабанны, угрюмы, линейны,
Ибо мои золотые года
Для вас, о граждане рая, взлелеяны!
Ибо мы — клуб самоубийц!
Мы смерть на себе в сладострастии тащим,
Мы жертвуем будущему настоящим.
Пить! Ради Бога, пожалуйста, пить.

*Вера* И ты убежден, что ты коммунист?

*Оконный* Вот потому-то я против гробниц.
Подумай о будущих. Чем они лучше,
Что им на долю выпадает случай
Родиться, т-тваж, в коммунизме? Как?
Чем, говорю я, чем виноват я,
Что родилсй в эпоху макак,
Что сердце мое нуждается в вате,
Что все мы несчастны на этой земле,
Все беспризорны, все мы убоги,
Все одноглазы, все однобоки,
Что можно от дикого страха замлеть,
Если пройтись по нашим коллизиям?
Господи, скоро ли социализм!

*Вера* Впрочем, пожалуй, ты коммунист.

*Оконный* Благодарю и падаю ниц.

*Вера* Но заражен бациллой поэзии.

*Оконный* Глупости, я трезвей и полезнее:
К социализму я ставлю вехой
Счастье сегодняшнего человека!
Я вдруг омудрел, как тваж, как змея;
Бывают прозренья, как лазурь в тучах:
Одно сыпнотифозное Я
Мне ближе, чем триллиарды грядущих.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*(1929)*



# V

# ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ

**(Немногие биографические сведения даны в предисловии).**

## ЯРМАРКА В КУИНДАХ

Над степями плывут орлы
Из Тобола на Каркаралы,

И баранов пышны отары
Поворачивают к Абатару.

Горький ветер трясет полынь,
И в полоне Долонь у дынь —

Их оранжевые тела
Накаляются добела,

И до самого дна нагруз
Сладким соком своим арбуз.

В этот день поет тяжелей
Лошадиный горячий пах, —
Полстраны, заседлав коней,
Скачет ярмаркой в Куиндах.

Сто коней разметало дых —
Белой масти густой мороз;
И на скрученных лбах у них
Сто широких буланых звезд.

Над раздольем трав и пшениц
Поднимается древний рев:
Казаки из своих станиц
Гонят в степь табуны коров.

Горький ветер, жги и тумань,
У Алтайских предгорий стынь!
Для казацких душистых бань
Шелестят березы листы.

В этот день поет тяжелей
Вороной лошадиный пах, —
Полстраны, заседлав коней,
Скачет ярмаркой в Куиндах!..

Пьет джигит из Касэ вина,
Азиатскую супит бровь —
На бедре его скакуна
Вырезное его тавро.

Пьет казак из Лебяжья — вина,
Сапоги блестят — до колен —
В пышной гриве его скакуна
Кумачевая вьюга лент.

А на седлах чекан — нарез,
И станишники смотрят — во!
И киргизы смеются — во!
И широкий крутой заезд
Низко стелется над травой.

Кто отстал на одном вершке,
Потерял — жалей не жалей —
Двадцать пять в холстяном мешке,
Серебром двадцать пять рублей...

Горький ветер трясет полынь,
И в полоне Долонь у дынь, —
И баранов пышны отары
Поворачивают к Абатару.

Над степями плывут орлы
От Тобола на Карр-ка-ралы...

*(1930)*

# СЕСТРА

В луговинах по всей стране
Рыжим ветром шумят костры,
И, от голода осатанев,
Начинают петь комары.
На хребтах пронося траву,
Осетры проходят на юг,
И за ними следом плывут
Косяки тяжелых белуг.
Ярко-красный теряет пух
На твоем полотенце петух.
За твоим порогом река,
Льнут к окну твоему облака,
И поскрипывает, чуть слышна,
Половицами тишина.
Ой, темно Иртышское дно, —
Отвори, отвори окно!
Слушай, как водяная мышь
На поемах грызет камыш.
И спокойна вода, и вот
Молчаливая тень скользнет,
Это синие стрелы щук
Бороздят лопухи излук,
Это всходит вода ясней
Звонкой радугой окуней!
...Ночь тиха и печаль остра,
Дай мне руки твои, сестра.
Твой родной, постаревший дом
Пахнет медом и молоком.
Я приветствую этот кров
За мычанье пестрых коров,
За густой его палисад,
За сырой его аромат.
Наступил нашей встречи срок,
Дай мне руки, я не остыл,
Пусть махорки моей дымок

Синь взойдет, как тогда всходил.
Под резным, глухим потолком
Пусть рассеется тонкий дым,
О далеком и дорогом
Мы с тобою поговорим.
Горячéй шумит разговор, —
Вот в зеленых мхах и лугах
Юность мчится во весь опор
На крутых степных лошадях.
По траве, по корявым пням
Юность мчится навстречу нам!
Расплеснулись во все концы
С расписной дуги бубенцы.
...Проплывает туман давно.
Отвори, отвори окно!
Слушай, как тальник, отсырев,
Набирает соки заре.
Первобытной листвой пыля,
Шатаются пьяные тополя,
Всходит рыжею головой
Раньше солнца подсолнух твой.
Осыпая горячий пух,
С полотенца кричит петух:
Утро, утро, сестра, встречай,
Дай мне руки твои. Прощай!

*(1930)*

## ГОРОД СЕРАФИМА ДАГАЕВА

Старый горбатый город — щебень и синева,
Свернута у подсолнуха желтая голова,
Свесилась у подсолнуха мертвая голова,
Улица Павлоградская, дом номер сорок два.
С пестрой дуги сорвется колоколец бренча,
Красный кирпич базара, церковь и каланча,
Красен кирпич базара, цапля — не каланча,
Лошади на пароме слушают свист бича.
Пёс на крыльце парадном, ласковый и косой,
Верочка Иванова, вежливая, с косой,
Девушка-горожанка с нерасплетенной косой,
Над Иртышом зеленым чаек полет косой.
Верочка Иванова с туфлями на каблуках,
И педагог-словесник с удочками в руках.
Тих педагог-словесник с удилищем в руках,
Небо в гусиных стаях, в медленных облаках.
Дыни в глухом и жарком обмороке лежат,
Каждая дыня копит золото и аромат,
Каждая дыня цедит золото и аромат,
Каждый арбуз покладист, сладок и полосат.
Это ли наша родина, молодость, отчий кров, —
Улица Павлоградская — восемьдесят дворов?
Улица Павлоградская, восемьдесят дворов.
Сонные водовозы, утренний мык коров.
В каждом окне соседском тусклый зрачок огня.
Что ж, Серафим Дагаев, слышишь ли ты меня?
Что ж, Серафим Дагаев, слушай теперь меня:
Остановились руки ярмарочных менял.
И засияв крестами в синей, как ночь, пыли
Восемь церквей купеческих сдвинулись и пошли.
Восемь церквей, шатаясь, сдвинулись и пошли
В бурю, в грозу, в распутицу, в золото, в ковыли.
Пики остры у конников, память пики острей:
В старый, горбатый город грохнули из батарей.
Гулко ворвался в город круглый гром батарей.

Баржи и пароходы сорваны с якорей.
Посередине площади, не повернув назад,
Кони встают, как памятники,
Рушатся и хрипят!
Кони встают, как памятники,
С пулей в боку хрипят,
С ясного неба сыплется крупный свинцовый град.
Вот она наша молодость — ветер и штык седой
И над веселой бровью шлем с широкой звездой.
Шлем над веселой бровью с красноармейской звездой,
Списки военкомата и снежок молодой.
Рыжий буран пожара, пепел пустив, потух.
С гаубицы разбитой зори кричит петух.
Громко кричит над миром, крылья раскрыв, петух,
Клювом впиваясь в небо и рассыпая пух...

*(1931)*

## РАССКАЗ О ДЕДЕ

Корнила Ильич,
Ты мне сказки баял,
Служивый да ладный, — вон ты каков!
Кружилась за окнами ночь, рябая
От звезд, сирени и светляков.
Тогда, как подкошенная, с разлета
В окно ударялась летучая мышь,
Настоенной кровью вспухало болото,
Сопя и всасывая камыш.
В тяжелом ковше не тонул, а плавал
Расплавленных свеч заколдованный воск,
Тогда начиналась твоя забава —
Лягушачьи песни и переплеск.
Недобрым огнем разжигались поверья,
Под мох сбиваясь, шипя под золой,
И песни летали, как белые перья,
Как пух одуванчиков над землей!
Корнила Ильич!
Бородатый дедко,
Я помню, как в пасмурные вечера
Лицо загудевшею синею сеткой
Тебе заволакивала мошкара.
Ножовый цвет бархата, незабудки,
Да в темную сырь смоляной запал, —
Ходил ты к реке и играл на дудке,
А я подсвистывал да подпевал.
И так ты остался. Дикий и ярый,
Еще неуступчивый в стык, на слом,
Рыжеголовый, с дудкою старой,
Весну проводящий сквозь бурелом.
Весна проходила речонки бродом,
За пестрым телком распустив волоса.
И петухи по соседним зародам
Сверяли простуженные голоса.
Она проходила куда попало,
По метам твоим и наугад

Из рукава по воде пускала
Белых гусей и желтых утят.
Вот так радость зверью и деду!
Корнила Ильич,
Здесь трава и плес,
Давай окончим нашу беседу
У мельничных, вызеленных колес.
Я рядом с тобою в осоку лягу
В упор трясинному зыбуну:
Со дна водяным поднялась коряга,
И щука нацеливается на луну.
Теперь бы время сказкой потешить
Про злую любовь, про лесную жизнь,
Четыре дня, как четыре леших
Сидят у берега, подпершись.
Корнила Ильич,
По старой излуке
Круги расходятся от пузырей,
И я, распластав, словно крылья, руки,
Встречаю молодость на заре!
Я молодость слышу в птичьем крике,
В цветеньи и гаме твоих болот,
В горячем броженьи свежей брусники,
В сосне, зашатавшейся от непогод.
...Крест не в крест. Земля — не перина.
Как звезды, осыпались светляки,
Из гроба не встанешь, и с глаз совиных
Не снимешь стертые пятаки.
И лучший удел, что в забытой яме,
Накрытой древнею синевой,
Отыщет тебя молодыми когтями
Обугленный дуб, шелестящий листвой.
Он череп развалит, он высосет соки,
Чтоб снова заставить их жить и петь.
Чтоб встать над тобою рудым и высоким,
Корой обрастать и ветвями звенеть!

*(1932)*

## СТИХИ В ЧЕСТЬ НАТАЛЬИ

В наши окна, щурясь, смотрит лето,
только жалко — занавесок нету,
ветреных, веселых, кружевных.
Как бы они весело летали
в окнах приоткрытых у Натальи,
в окнах незатворенных твоих!

И еще прошеньем прибалую —
сшей ты, ради Бога, продувную
кофту с рукавом по локоток,
чтобы твое яростное тело
с ядрами грудей позолотело,
чтобы наглядеться я не мог.

Я люблю телесный твой избыток
от бровей широких и сердитых
до ступни, до ноготков люблю,
за ночь обескрылевшие плечи,
взор и рассудительные речи
и походку важную твою.

А улыбка — ведь какая малость! —
но хочу, чтоб вечно улыбалась —
до чего тогда ты хороша!
До чего доступна, недотрога,
губ углы приподняты немного:
вот где помещается душа.

Прогуляться ль выйдешь, дорогая,
всё в тебе ценя и прославляя,
долго смотрит умный наш народ.
Называет «прелестью» и «павой»
и шумит вослед за величавой:
«По стране красавица идет.»

Так идет, что ветви зеленеют,
так идет, что соловьи чумеют,
так идет, что облака стоят.

Так идет, пшеничная от света,
больше всех любовью разогрета,
в солнце вся от макушки до пят.

Так идет, земли едва касаясь,
и дают дорогу, расступаясь,
шлюхи из фокстротных табунов,
у которых кудлы пахнут псиной,
бедра крыты кожею гусиной,
на ногах мозоли от обнов.

Лето пьет в глазах ее из брашен,
нам пока Вертинский ваш не страшен —
чортова рогулька, волчья сыть.
Мы еще Некрасова знавали,
мы еще «Калинушку» певали,
мы еще не начинали жить.

И в июне первые недели
по стране веселое веселье,
и стране нет дела до трухи.
Слышишь, звон прекрасный возникает?
Это петь невеста начинает,
пробуют гитары женихи.

А гитары под вечер речисты,
чем не парни наши трактористы?
Мыты, бриты, кепки набекрень.
Слава, слава счастью, жизни слава.
Ты кольцо из рук моих, забава,
вместо обручального надень.

Восславляю светлую Наталью,
славлю жизнь с улыбкой и печалью,
убегаю от сомнений прочь,
славлю все цветы на одеяле,
долгий стон, короткий сон Натальи,
восславляю свадебную ночь.

*(1934)*

# НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ

(Немногие биографические сведения даны в предисловии).

## ФУТБОЛ

Ликует форвард на-бегу, —
Теперь ему какое дело?
Как будто кости берегут
Его распахнутое тело.
Как плащ летит его душа,
Ключица стукается звонко
О перехват его плаща,
Танцует в ухе перепонка,
Танцует в горле виноград, —
И шар перелетает ряд.

Его хватают наугад,
Его отравою поят,
Но каблуков железный яд
Ему страшнее во сто крат, —
Назад!
Свалились в кучу беки,
Опухшие от сквозняка,
И вот — через моря и реки,
Просторы, площади, снега,
Расправив пышные доспехи
И накренясь в меридиан, —
Слетает шар.

Ликует форвард на пожар,
Свинтив железные колена,
Но уж из горла бьет фонтан,

Он падает, кричит: измена! —
А шар вертится между стен,
Дымится, пучится, хохочет,
Глазок сожмет: спокойной ночи!
Глазок откроет: добрый день! —
И форварда замучить хочет.

Четыре голла пали в ряд,
Над ними трубы не гремят, —
Их сосчитал и тряпкой вытер
Меланхолический Голкипер
И крикнул ночь. Приходит ночь,
Бренча алмазною заслонкой, —
Она вставляет черный ключ
В атмосферическую лунку, —
Открылся госпиталь.
Увы,
Здесь форвард спит без головы.

Над ним два медные копья
Упрямый шар веревкой вяжут,
С плиты загробная вода
Стекает в ямки вырезные
И сохнет в горле виноград.
(Спи, форвард, задом — наперед!)

Спи, бедный форвард!
Над землею
Заря упала глубокá,
Танцуют девочки с зарею
У голубого ручейка,
Всё так же вянут на покое
В лиловом домике обои,
Стареет мама с каждым днем...
Спи, бедный форвард!
Мы живем.

*1927*

## ИВАНОВЫ

Стоят чиновные деревья,
почти влезая в каждый дом;
давно их кончено кочевье —
они в решетках, под замком.
Шумит бульваров теснота,
домами плотно заперта.

Но вот — все двери растворились,
повсюду шопот пробежал:
на службу вышли Ивановы
в своих штанах и башмаках.
Пустые гладкие трамваи
им подают свои скамейки;
герои входят, покупают
билетов хрупкие дощечки,
сидят и держат их перед собой,
не увлекаясь быстрою ездой.

А мир, зажатый плоскими домами,
стоит, как море, перед нами,
грохочут волны мостовые,
и через лопасти колес —
сирены мечутся простые
в клубках оранжевых волос.
Иные дуньками одеты,
сидеть не могут взаперти:
ногами делая балеты,
они идут.

Куда итти,
кому нести кровавый ротик,
кому сказать сегодня «котик»,
у чьей постели бросить ботик
и дернуть кнопку на груди?
Неужто некуда итти?!

О, мир, свинцовый идол мой,
хлещи широкими волнами
и этих девок упокой
на перекрестке вверх ногами!
Он спит сегодня — грозный мир,
в домах — спокойствие и мир.
Ужели там найти мне место,
где ждет меня моя невеста,
где стулья выстроились в ряд,
где горка — словно Арарат,
повитый кружевцем бумажным,
где стол стоит, и трехэтажный
в железных латах самовар
шумит домашним генералом?

О мир, свернись одним кварталом,
одной разбитой мостовой,
одним проплеванным амбаром,
одной мышиною норой,
но будь к оружию готов:
целует девку — Иванов!

*1928*

## ОБВОДНЫЙ КАНАЛ

В моем окне — на весь квартал
Обводный царствует канал.

Ломовики как падишахи,
коня запутав медью блях,
идут закутаны в рубахи,
с нелепой важностью нерях.
Вокруг — пивные стали в ряд,
ломовики в пивных сидят,
и в окна конских морд собор
глядит, поставленный в упор.
А там за ним, за морд собором,
течет толпа на полверсты,
кричат слепцы блестящим хором,
стальные вытянув персты.
Маклак штаны на воздух мечет,
ладонью бьет, поет как кречет:
маклак — владыка всех штанов,
ему подвластен ход миров,
ему подвластно толп движенье,
толпу томит штанов круженье,
и вот — она; забывши честь,
стоит, не в силах глаз отвесть,
вся — прелесть и изнеможенье!

Кричи, маклак, свисти уродом,
мечи штаны под облака!
Но перед сомкнутым народом
иная движется река:
один — сапог несет на блюде,
другой — поет собачку-пудель,
а третий, грозен и румян,
в кастрюлю бьет, как в барабан.
И нету сил держаться боле:

толпа в плену, толпа в неволе,
толпа лунатиком идет,
ладони вытянув вперед.

А вкруг — черны заводов замки,
высок под облаком гудок,
и вот опять идут мустанги
на колоннаде пышных ног.
И воют жалобно телеги,
и плещет взорванная грязь,
и над каналом спят калеки,
к пустым бутылкам прислонясь.

*1928*

## РЫБНАЯ ЛАВКА

И вот, забыв людей коварство,
вступаем мы в иное царство...
Тут тело розовой севрюги,
прекраснейшей из всех севрюг,
висело, вытянувши руки,
хвостом привешено на крюк.
Под ним кета пылала мясом,
угри, подобные колбасам,
в копченой пышности и лени
дымились, подогнув колени,
и среди них — как желтый клык
сидел на блюде царь-балык.

О самодержец пышный брюха,
кишечный бог и властелин,
руководитель тайный духа
и помыслов архитриклин, —
хочу тебя! Отдайся мне,
дай жрать тебя до самой глотки!
Мой рот трепещет — весь в огне,
кишки дрожат, как готтентотки,
Желудок, в страсти напряжен,
голодный сок струями точит —
то вытянется, как дракон,
то вновь сожмется что есть мочи,
слюна, клубясь, во рту бормочет
и сжаты челюсти вдвойне, —
хочу тебя! Отдайся мне!

Повсюду гром консервных банок,
ревут сиги, вскочив в ушат,
ножи, торчащие из ранок,
качаются и дребезжат;
горит садок подводным светом,

где за стеклянною стеной
плывут лещи, объяты бредом,
галлюцинацией, тоской,
сомненьем, может быть — тревогой?
И смерть над ними, как торгаш,
поводит бронзовой острогой.

Весы читают «отче наш»,
две гирьки, мирно встав на блюдце,
определяют жизни ход,
и дверь звенит, и рыбы бьются,
и жабры дышат наоборот!

*1929*

## ЦИРК

Цирк сияет, словно щит,
цирк на пальцах верещит,
цирк на дудке завывает,
душу в душу ударяет!
С нежным личиком испанки
и цветами в волосах —
тут девочка — пресветлый ангел,
виясь, плясала вальс-казак.
Она среди густого пара
стоит, как белая гагара,
то, сгибаясь у плеча,
реет, ноги волоча,
то вдруг присвиснет одинокая,
совьется маленьким ужом
и вновь несется, нежно охая, —
прелестный образ и почти-что нагишом!
Но вот— одежды беспокойство
вкруг тела складками легло,
хотя напрасно!
Членов нежное устройство
на всех впечатление произвело!

Толпа встает. Все дышат, как сапожники.
Во рту — слюны навар кудрявый.
Иные — даже самые безбожники —
полны таинственной отравой.
Другие же, суя табак в пустую трубку,
облизываясь, мысленно целуют ту голубку,
которая пред ними пролетела —
пресветлая! остаться не захотела...

Вой всюду в зале тут стоит,
кромешным духом все полны,

но музыка опять гремит,
и все опять удивлены.
Лошадь белая выходит,
бледным личиком вертя,
и на ней при всем народе
сидит полновесное дитя.
Вот, маша́ руками враз,
дитя, смеясь, сидит ан-фас,
и вдруг, взмахнув ноги обмылком,
дитя сидит к коню затылком.
А конь, как стражник, опустив
высокий лоб с большим пером,
по кругу носится, спесив,
поставив ноги под углом.

Тут опять всеобщее изумление
и похвала, и одобрение,
и как зверок, кусает зависть
тех, кто недавно улыбались,
иль равнодушными казались.
Мальчишка, тихо хулиганя,
подружке на ухо шептал:
«Какая тут сварилась баня!»
и девку нежно обнимал.
Она же, к этому привыкнув,
сидела тихая, не пикнув:
закон имея естества,
она желала сватовства.

Но вот опять арена скачет;
ход представленья снова начат:
два тоненькие мужика
серьезно гнутся у шеста.
Один, чертя рукой девичьей,
на воздух медленный ползет,
то красный шарик выпускает,
то вниз — нарядный — упадет
и товарищу на плечи

легкой ножкою встает!
Потом они, смеясь опасно,
ползут наверх единогласно
и там, обнявшись наугад,
на толстом воздухе стоят.
Они дыханьем укрепляют
двойного тела равновесье,
но через миг опять летают,
себя по воздуху развеся.

Тут опять, восторгом на́лит,
зал трясется, как кликуша,
и в ладони громко жарит,
не щадя чужие уши.
Один старик интеллигентный
сказал, другому говоря:
«Этот праздник разноцветный
посещаю я не зря.
Здесь нахожу я греческие игры,
красоток розовые икры,
научных замечаю лошадей,
это не цирк, а прямо чародей!»
Другой, плешивый, как колено,
сказал, что это — несомненно.

На последний страшный номер
вышла женщина — змея,
она усердно ползала в соломе,
ноги в кольца завия.
Проползав несколько минут,
она совсем лишилась тела.
Кругом служители бегут:
где? где? Красотка улетела!

Тут пошел в народе ужас,
все свои хватают шапки
и бросаются наружу,

имея девок полные охапки.
«Воры, воры» — все кричали,
но воры были невидимки:
они в тот вечер угощали
своих друзей на Ситном рынке.
Над ними небо было рыто
веселой руганью двойной,
и жизнь трещала, как корыто,
летая книзу головой!

*1929*

## ИЗ ПОЭМЫ «ТОРЖЕСТВО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ»

### 4. **Битва с предками**

Ночь гремела в бочки, в банки,
в дупла сосен, в дудки бури,
ночь под маской истуканки
выжгла ляписом лазури,
ночь гремела самодуркой,
всё к чертям летело, к чорту,
волк, ударен штукатуркой,
несся плача, пряча морду.
Вепрь, муха, всё собранье
птиц, повыдернуто с сосен,
«Ах, — кричало, — наказанье,
этот вечер нам несносен».
В это время, грустно воя,
шел медведь, слезой накапав.
Он лицо свое большое
нес на вытянутых лапах.
«Ночь! — кричал: — иди ты к шуту,
отвяжись, Веельзевулша!»
Ночь кричала: «Буду! Буду!»
Ну, и ветер тоже дул же —
так, скажу, проклятый ветер
дул — как будто рвался порох!
Вот каков был русский север,
где деревья без подпорок.

*Солдат*

Слышу бури страшный шум,
слышу ветра дикий вой,
но привычный знает ум:
тут не чорт, не домовой,
тут не демон, не русалка,
не бирюк, не лешачиха,

но простых деревьев свалка.
После бури будет тихо.

*Предки*

Это вовсе неизвестно,
хотя мысль твоя понятна,
посмотри: под нами бездна,
облаков несутся пятна.
Только ты — дитя рассудка —
от рожденья нездоров,
полагаешь — это шутка
столкновения ветров.

*Солдат*

Предки страшные, отстаньте!
Вы — проклятые кроты —
землю трогать перестаньте,
открывая ваши рты.
Непонятным наказаньем
вы готовы мне грозить,
объяснитесь на прощанье —
что желаете просить.

*Предки*

Предки мы, и предки вам,
тем, которым столько дел,
мы столетье пополам
рассекаем и предел
представляем вашим бредням,
предпочтенье даем средним —
тем, которые рожают,
тем, которые поют,
никому не угрожают,
ничего не создают.

*Солдат*

Предки, как же? Ваша глупость
невозможна. Хуже смерти!
Ваша правда обернулась
в косных неучей усердье!
Ночью, лежа на кровати,
вижу голую жену,
вот она сидит без платья,
поднимаясь в вышину.
Вся пропахла молоком...
Предки, разве правда в этом?
Нет, клянуся молотком,
я желаю быть одетым!

*Предки*

Ты — дурак, жена — не дура,
но природы лишь сосуд,
велика ее фигура,
два младенца грудь сосут.
Одного под зад ладонью
держит крепко, а другой,
наполняя воздух вонью,
на груди лежит другой.

*Солдат*

Хорошо, но как понять —
чем приятна эта мать?

*Предки*

Объясняем: женщин брюхо,
очень сложное на взгляд,
состоит жилищем духа
девять месяцев подряд.
Там младенец в позе Будды
получает форму тела,
голова его раздута,

чтобы мысль в ней кипела,
чтобы пуповины провод,
крепко вставленный в пупок,
словно вытянутый хобот,
не мешал развитью ног.

*Солдат*

Предки, всё это понятно,
Но однако, важно знать,
не пойдем ли мы обратно,
если будем лишь рожать?

*Предки*

Сволочь, дылда, старый мерин,
недоносок рыжей клячи,
твой рассудок, непомерен,
верно выдуман иначе!
Ветры, бейте в крепкий молот,
сосны, бейте прямо в печень,
чтобы, надвое расколот,
был бедняга изувечен.

*Солдат*

Прочь! Молчать! Довольно! Или
расстреляю всех на месте!
Мертвецам лежать в могиле,
марш в могилу, и не лезьте!
Пусть попы над вами стонут,
Пусть над вами воют черти,
я же, предками нетронут,
буду жить до самой смерти!

---

В это время дуб, встревожен,
раскололся. В это время

волк пронесся, огорошен,
защищая лапой темя.
Вепрь, муха, целый храмик
муравьев, большая выдра —
всё летело вверх ногами,
о деревья шкуру выдрав.
Лишь солдат, закрытый шлемом,
застегнув свою шинель,
возвышался, словно демон
невоспитанных земель.
И полуночная птица —
обитательница трав —
принесла ему водицы,
ветку дерева сломав.

*1929-30*

## ИЗ ПОЭМЫ «ТОРЖЕСТВО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ»

### 7. Торжество земледелия

Утро встало. Пар тумана
закатился за поля,
как слепцы из каравана
разбежались тополя.
Хоры сеялок, отвесив
килограммы тонких зерен,
едут в ряд, и пахарь весел,
от загара солнца черен.

Повсюду разные занятья:
люди кучками сидят,
эти — шьют большие платья,
те — из трубочки дымят.
Один старик, сидя в овраге,
объясняет философию собаке;
другой, также — царь и бог
земледельческих орудий,
у коровы щупал груди
и худые кости ног.
Потом тихо составляет
идею точных молотилок,
и коровам объясняет,
сердцем радостен и пылок.

Семейство деревянных сёл
глядело с высоты холма,
в хлеву свободу пел осел,
достигнув полного ума.
Там — сепаратор медленный кружа,
смеялось множество крестьянок;
другие чистили ерша,
забросив невод спозаранок;

в котлах семейных суп варился,
огонь с металлом говорил
и человек, жуя, дивился
тому, что сам нагородил.

Также тут сидел солдат.
Посреди крестьянских сёл,
размышленьями богат,
он такую речь повел:
— «Славься, славься, земледелье,
равноденствие машин!
Бросьте, пахари, безделье —
будет ужин и ужи́н.
Науку точную сноповязалок,
сеченье вымени коров
пойми, иначе будешь жалок,
умом дородным нездоров.
Теория построения двора
умудрила наши руки.
Славьтесь, добрые науки!
Земледелию — ура!»

Замолк. Повсюду пробежал
гул веселых одобрений,
и солдат, подняв фиал,
пиво пил для утоленья.
Председатель многополья
и природы коновал —
он военное дреколье
на серпы перековал.
И, тяжелые как домы,
закачались у межи,
медным трактором ведомы,
колесницы крепкой ржи.
А на холме у реки,
от рождения впервые
ели черви гробовые
деревянный труп сохи.

Умерла царица пашен,
коробейница старух!
И растет над нею, важен,
сын забвения — лопух.
И растет лопух унылый,
и листом о камень бьет,
и над ветхою могилой
память вечную поет!

Крестьяне, сытно закусив,
газеты длинные читают,
тот бреет бороду, красив,
а этот — буквы составляет.
Младенцы в глиняные дудки
дудят, размазывая грязь,
и вечер цвета незабудки
плывет по воздуху, смеясь!

*1929-30*

## ОСЕННИЕ ПРИМЕТЫ

Когда минует день, и освещение
природа выбирает не сама,
осенних рощ большие помещения
стоят на воздухе, как чистые дома.
В них ястребы живут, вороны в них ночуют,
и облака вверху, как призраки, кочуют.
Осенних листьев ссохлось вещество
и землю всю устлало. В отдалении
на четырех ногах большое существо
идет, мыча, в туманное селение.
Бык, бык! Ужели больше ты не царь?
Кленовый лист напоминает нам янтарь.

Дух осени, дай силу мне владеть пером!
В строеньи воздуха — присутствие алмаза.
Бык скрылся за углом,
и солнечная масса
туманный шар земли, мерцая, кровянит.
Вращая круглым глазом из-под век,
летит внизу большая птица.
В ее движеньи чувствуется человек.
По крайней мере он таится
в своем зародыше меж двух широких крыл.
Жук домик между листьев приоткрыл,

Архитектура осени. Расположенье в ней
воздушного пространства, рощи, речки,
расположение животных и людей,
когда летят по воздуху колечки
и завитушки листьев, и особый свет, —
вот то, что выберем среди других примет.

Жук домик между листьев приоткрыл
и, рожки выставив, выглядывает,

жук разных корешков себе нарыл
и в кучу складывает,
потом трубит в свой маленький рожок
и снова скрылся в листьях, как божок.

Но вот приходит ветер. Всё, что было чистым,
пространственным, светящимся, сухим, —
всё стало резким, неприятным, мглистым,
неразличимым. Ветер гонит дым,
вращает воздух, листья валит ворохом
и верх земли взрывает порохом.

И вся природа начинает леденеть.
Лист клена, словно медь,
звенит, ударившись о маленький сучок.
И мы должны понять, что это есть значок,
который посылает нам природа,
чтоб перейти в другое время года.

*1932*

Меркнут знаки Зодиака
над просторами полей.
Спит животное Собака,
дремлет птица Воробей.
Толстозадые русалки
улетают прямо в небо, —
руки крепкие, как палки,
груди круглые, как репа.
Ведьма, сев на треугольник,
превращается в дымок.
С лешачихами покойник
стройно пляшет кекуок.
А за ними бледным хором
ловят Муху колдуны,
и стоит за косогором
неподвижный лик луны.

Меркнут знали Зодиака
над постройками села,
спит животное Собака,
дремлет рыба Камбала.
Колотушка тук-тук-тук,
спит животное Паук,
спит Корова, Муха спит,
над землей луна висит.
Над землей большая плошка
опрокинутой воды.
Леший вытащил бревешко
из косматой бороды,
из-за облака сирена
ножку выставила вниз,
людоед у джентльмена
неприличное отгрыз.

Всё смешалось в общем танце
и летят во все концы
гамадриллы и британцы,
ведьмы, блохи, мертвецы.

Кандидат былых столетий,
полководец новых лет —
разум мой! Уродцы эти —
только вымысел и бред.
Только вымысел, мечтанье,
сонной мысли колыханье,
безутешное страданье —
то, чего на свете нет...
Высока земли обитель.
Поздно, поздно. Спать пора.
Разум, бедный мой воитель,
ты заснул бы до утра.
Что сомненья, что тревоги?
День прошел и мы с тобой —
полузвери, полубоги —
засыпаем на пороге
новой жизни трудовой.

Колотушка тук-тук-тук.
Спит животное Паук,
спит Корова, Муха спит.
Над землей луна висит.
Над землей большая плошка
опрокинутой воды...
Спит растение Картошка,
засыпай скорей и ты!

*1932*

## ЛОДЕЙНИКОВ

Как бомба в небе разрывается
и сотрясает атмосферу,
так в человеке начинается
тоска, нарушив жизни меру.
Вокруг Лодейникова расположены
места глухой природы —
бегут животные, стреножены,
благоухают огороды.
А сам Лодейников на возвышении
сидит поднявши руки,
и говорит: «в душе моей сражение
природы, зренья и науки.
Вокруг меня кричат собаки,
растет в саду огромный мак, —
я различаю только знаки
домов, растений и собак.
Я тщетно вспоминаю детство,
которое судило мне в наследство
не мир живой, на тысячу ладов
поющий, прыгающий, думающий, ясный,
но мир, испорченный сознанием отцов,
искусственный, немой и безобразный,
и продолжающий день ото дня стареть...
О, если бы хоть раз на землю посмотреть
и разорвать глаза и вырвать жилы!»

Так говорил Лодейников и старожилы
глухих лесов — жуки — сошлись по одному
и, пальцы щекоча, ласкалися к нему.
Лодейников, закрыв лицо руками,
тихонько плакал. Вечер наступал.
Внизу, постукивая тонкими звонками,
шел скот домой и тихо лопотал

невнятные свои воспоминанья.
Травы холодное дыханье
струилось вдоль дороги. Жук летел.
Лодейников открыл лицо и поглядел
в траву. Трава пред ним предстала
стеной сосудов. И любой сосуд
светился жилками и плотью. Трепетала
вся эта плоть и вверх росла, и гуд
шел по земле. Прищелкивая по суставам,
пришлепывая, странно шевелясь,
огромный лес травы вытягивался вправо —
туда, где солнце падало, светясь.
И то был бой травы, растений молчаливый бой.
Одни, вытягиваясь жирною трубой
и распустив листы, других собою мяли,
и напряженные их сочлененья выделяли
густую слизь. Другие лезли в щель
между чужих листов. А третьи, как в постель,
ложились на соседа и тянули
его назад, чтоб выбился из сил...

И в этот миг жук в дудку задудил.
Лодейников очнулся. Над селеньем
всходил туманный рог луны,
и постепенно превращалось в пенье
шуршанье трав и тишины.
Природа пела. Лес, подняв лицо,
пел вместе с лугом. Речка чистым телом
звенела вся, как звонкое кольцо.
На луге белом
трясли кузнечики сухими лапками,
жуки стояли черными охапками —
их голоса казалися сучками.
Блестя прозрачными очками,
по лугу шел прекрасный Соколов,
играя на задумчивой гитаре.
Цветы его касались сапогов
и наклонялись. Маленькие твари

сразмаха шлепались к нему на грудь
и бешено подпрыгивая, падали.
Но Соколов ступал по падали
и равномерно продолжал свой путь.

Лодейников очнулся. Светляки
вокруг него зажгли свои лампадки,
и он лежал в природе, словно в кадке —
совсем один, рассудку вопреки.

*1933*

Вчера, о смерти размышляя,
Ожесточилась вдруг душа моя.
Печальный день! Природа вековая
из тьмы лесов смотрела на меня.
И нестерпимая тоска разъединенья
пронзила сердце мне, и в этот миг
всё, всё услышал я — и трав вечерних пенье,
и речь воды, и камня мертвый крик.
И я — живой — скитался над полями,
входил без страха в лес,
и мысли мертвецов прозрачными столбами
вокруг меня вставали до небес.
И голос Пушкина был над листвою слышен,
и птицы Хлебникова пели у воды.
И встретил камень я. Был камень неподвижен,
и проступал в нем лик Сковороды.
И все существованья, все народы
нетленное хранили бытие,
и сам я был не детище природы,
но мысль ее! Но зыбкий ум ее!

*1937*

# СЕВЕР
## (Начало)

В воротах Азии, среди лесов дремучих,
Где сосны древние стоят, купая в тучах
Свои закованные холодом верхи;
Где волка валит с ног дыханием пурги;
Где холодом охваченная птица
Летит, летит и вдруг, затрепетав,
Повиснет в воздухе, и кровь у ней сгустится,
И птица падает — умершая — стремглав;
Где в жолобах своих гробообразных,
Составленных из каменного льда,
Едва течет в глубинах рек прекрасных
От наших взоров скрытая вода;
Где самый воздух, острый и блестящий,
Дает нам счастье жизни настоящей,
Весь из кристаллов холода сложен;
Где солнца шар короной окружен;
Где с ледяными бородами,
Надев на голову конический треух,
Сидят в санях и длинными столбами
Пускают изо рта оледенелый дух;
Где лошади, как мамонты в оглоблях,
Бегут, урча; где дым стоит на кровлях,
Как изваяние, пугающее глаз;
Где снег, сверкая, падает на нас,
И каждая снежинка на ладони
То звездочку напомнит, то кружок,
То вдруг цилиндриком блеснет на небосклоне,
То крестиком опустится у ног;
В воротах Азии, в объятьях лютой стужи,
Где жены в шубах и в тулупах мужи, —
Несметные богатства затая,
Лежит в сугробах Родина моя...

*1936*

## Я ТРОГАЛ ЛИСТЫ ЭВКАЛИПТА

Я трогал листы эвкалипта
И твердые перья агавы,
Мне пели вечернюю песню
Аджарии сладкие травы,
Магнолия в белом уборе
Склоняла туманное тело,
И синее-синее море
У берега бешено пело.

Но в яростном блеске природы
Мне снились московские рощи,
Где синее небо бледнее,
Растенья скромнее и проще,
Где нежная иволга стонет
Над светлым видением луга,
Где взоры печальные клонит
Моя дорогая подруга.

И вздрогнуло сердце от боли,
И светлые слезы печали
Упали на чаши растений,
Где белые птицы кричали.
А в небе, седые от пыли,
Стояли камфарные лавры
И в бледные трубы трубили,
И в медные били литавры.

*1947*



# Михаил Леонидович ЛОЗИНСКИЙ

**Родился в 1886 г. в Гатчине в семье присяжного поверенного. Окончил Петербургский университет. Книга стихов «Горный ключ» вышла в 1916 г. Переводил Байрона, Честертона, Гоцци, Леконта де Лилля, Мериме, Эредиа, Анри де Ренье, Аннунцио, Жюля Ромена, Ромена Роллана, Андре Жида, Гейне, Гёте, Лопе де Вега, Шекспира, Мольера. В 30-х г.г. был сослан, но потом возвращен из ссылки. Перевод «Божественной комедии» Данте вышел в свет полностью в 1946 г.; за него Лозинский получил сталинскую премию.**

## Из «БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ» Данте.

### АД, VI (Круг третий. Чревоугодники)

7 ...Я в третьем круге, там, где дождь струится,
Проклятый, вечный, грузный, ледяной;
Всегда такой же, он всё так же длится.
10 Тяжелый град, и снег, и мокрый гной
Пронизывают воздух непроглядный;
Земля смердит под жидкой пеленой.
13 Трехзевый Цербер, хищный и громадный,
Собачьим лаем лает на народ,
Который вязнет в этой топи смрадной.
16 Его глаза багровы, вздут живот,
Жир в черной бороде, когтисты руки;
Он мучит души, кожу с мясом рвет.
19 А те под ливнем воют, словно суки;

Прикрыть стараясь верхним нижний бок,
Ворочаются в исступленьи муки.
22 Завидя нас, разинул рты, как мог,
Червь гнусный, Цербер, и спокойной части
В нем не было от головы до ног.
25 Мой вождь нагнулся, простирая пясти,
И, взяв земли два полных кулака,
Метнул ее в прожорливые пасти.
28 Как пес, который с лаем ждал куска,
Смолкает, в кость вгрызаясь с жадной силой,
И занят только тем, что жрет пока, —
31 Так смолк и демон Цербер грязнорылый,
Чей лай настолько душам омерзел,
Что глухота казалась бы им милой.
34 Меж призраков, которыми владел
Тяжелый дождь, мы шли вперед, ступая
По пустоте, имевшей облик тел......

## АД, XXVI (Круг восьмой. Рассказ Улисса)

85 С протяжным ропотом огонь старинный
Качнул свой бо́льший рог; так иногда
Томится на ветру костер пустынный.
88 Туда клоня вершину и сюда,
Как если б это был язык вещавший,
Он издал голос и сказал: «Когда
91 Расстался я с Цирцеей, год скрывавшей
Меня вблизи Гаэты, где потом
Пристал Эней, так этот край назвавший, —
94 Ни нежность к сыну, ни перед отцом
Священный страх, ни долг любви спокойный
Близ Пенелопы с радостным челом
97 Не возмогли смирить мой голод знойный
Изведать мира дальний кругозор
И всё, чем дурны люди и достойны.
100 И я в морской отважился простор,
На малом судне выйдя одиноко
С моей дружиной, верной с давних пор.
103 Я видел оба берега, Морокко,
Испанию, край сардов, рубежи
Всех островов, раскиданных широко.
106 Уже мы были древние мужи,
Войдя в пролив, в том дальнем месте света,
Где Геркулес воздвиг свои межи,
109 Чтобы пловец не преступал запрета;
Севилья справа отошла назад,
Осталась слева, перед этим, Сетта.
112 ‘О, братья, — так сказал я, — на закат
Пришедшие дорогой многотрудной!
Тот малый срок, пока еще не спят
115 Земные чувства, их остаток скудный
Отдайте постиженью новизны,
Чтоб, солнцу вслед, увидеть мир безлюдный.

118 Подумайте о том, чьи вы сыны:
Вы созданы не для животной доли,
но к доблести и к знанью рождены.'
121 Товарищей так живо укололи
Мои слова и ринули вперед,
Что я и сам бы не сдержал их воли.
124 Кормой к рассвету, свой шальной полет
На крыльях вёсел судно устремило,
Все время влево уклоняя ход.
127 Уже в ночи я видел все светила
Другого остья, и морская грудь
Склонившееся наше заслонила.
130 Пять раз успел внизу луны блеснуть
И столько ж раз погаснуть свет заемный,
С тех пор как мы пустились в дерзкий путь,
133 Когда гора, далекой грудой темной,
Открылась нам; от века своего
Я не видал еще такой огромной.
136 Сменилось плачем наше торжество:
От новых стран поднялся вихрь, с налета
Ударил в судно, повернул его
139 Три раза в быстрине водоворота;
Корма взметнулась на четвертый раз,
Нос канул книзу, как назначил Кто-то,
142 И море, хлынув, поглотило нас».

## ЧИСТИЛИЩЕ, XV (Круг второй)

1 Какую долю, дневный путь свершая,
Когда к исходу близок третий час,
Являет сфера, как дитя, живая,
4 Такую долю и теперь как раз
Осталось солнцу опуститься косо;
Там вечер был, и полночь здесь у нас.
7 Лучи нам били в середину носа,
Затем что мы к закатной стороне
Держали путь по выступу утеса,
10 Как вдруг я ощутил, что в очи мне
Ударил новый свет, струясь продольно,
И удивился этой новизне.
13 Тогда ладони я поднес невольно
К моим бровям, держа их козырьком,
Чтобы от света не было так больно.
16 Как от воды иль зеркала углом
Отходит луч в противном направленьи,
Причем с паденьем сходствует подъем,
19 И от отвеса, в равном отдаленьи,
Уклон такой же точно он дает,
Что подтверждается при наблюденьи,
22 Так мне казалось, что в лицо мне бьет
Сиянье отражаемого света,
И взор мой сделал быстрый поворот.
25 «Скажи, отец возлюбленный, что это
Так неотступно мне в глаза разит,
Все надвигаясь?» — я спросил поэта.
28 «Не диво, что тебя еще слепит
Семья небес, — сказал он. — К нам, в сияньи,
Идет посол — сказать, что путь открыт......

### РАЙ, XXX (Эмпирей. Райская роза).

46 Как вспышкой молнии поражена
Способность зренья, так что и к предметам,
Чей блеск сильней, бесчувственна она, —
49 Так я был осиян ярчайшим светом,
И он столь плотно обволок меня,
Что всё исчезло в озареньи этом.
52 «Любовь, от века эту твердь храня,
Вот так приветствует, в себя приемля,
И так свечу готовит для огня».
55 Еще словам коротким этим внемля,
Я понял, что прилив каких-то сил
Меня возносит, надо мной подъемля;
58 Он новым зреньем взор мой озарил,
Таким, что выдержать могло бы око,
Какой бы яркий пламень ни светил.
61 И свет предстал мне в образе потока,
Струистый блеск, волшебною весной
Вдоль берегов расцвеченный широко.
64 Живые искры, взвившись над рекой,
Садились на цветы, кругом порхая,
Как яхонты в оправе золотой;
67 И, словно хмель в их запахе впивая,
Вновь погружались в глубь чудесных вод;
И чуть одна нырнет, взлетит другая.
70 «Порыв, который мысль твою влечет
Постигнуть то, что пред тобой предстало,
Мне тем милей, чем больше он растет.
73 Но надо этих струй испить сначала,
Чтоб столь великой жажды зной утих».
Так солнце глаз моих, начав, сказало;

76 И вновь: «Река, топазов огневых
Взлет и паденье, смех травы блаженный —
Лишь смутные предвестья правды их.

79 Они не по себе несовершенны,
А это твой же собственный порок,
Затем что слабосилен взор твой бренный».

82 Так к молоку не рвется сосунок
Лицом, когда ему порой случится
Проспать намного свой обычный срок,

85 Как устремился я, спеша склониться,
Чтоб глаз моих улучшить зеркала,
К воде, дающей в лучшем утвердиться.

88 Как только влаги этой испила
Каемка век, река, — мне показалось, —
Из протяженной сделалась кругла;

91 И как лицо, которое скрывалось
Личиною, — чуть ложный вид исчез,
Становится иным, чем представлялось,

94 Так превратились в бóльший пир чудес
Цветы и огоньки, и я увидел
Воочью оба воинства небес.

97 О Божий блеск, в чьей славе я увидел
Всеистинной державы торжество, —
Дай мне сказать, как я его увидел!

100 Есть горний свет, в котором Божество
Является очам того творенья,
Чей мир единый — созерцать Его;

103 Он образует круг, чьи измеренья
Настоль огромны, что его обвод
Обвода солнца шире без сравненья.

106 Его обличье луч ему дает,
Верх озаряя тверди первобежной,
Чья жизнь и мощь начало в нем берет.

109 И как глядится в воду холм прибрежный,
Как будто чтоб увидеть свой наряд,
Цветами убран и травою нежной,

112 Так, окружая свет, над рядом ряд, —
А их сверх тысячи, — в нем отразилось
Всё, к высотам обретшее возврат.

115 Раз в нижний круг такое бы вместилось
Светило, какова же ширина
Всей этой розы, как она раскрылась?

118 Взор не смущали глубь и вышина,
И он вбирал весь этот праздник ясный
В количестве и в качестве сполна.

121 Там близь и даль давать и брать не властны:
К тому, где Бог сам и один царит,
Природные законы непричастны.

124 В желть вечной розы, чей цветок раскрыт
И вширь, и ввысь и негой благовонной
Песнь Солнцу вечно вешнему творит,

127 Я был введен......

# Самуил Яковлевич МАРШАК

Родился в 1887 г. В 1907 г. выступил как переводчик английских поэтов. После революции главным образом занимается детской литературой; работает в детских театрах, пишет стихи для детей. Был редактором детского отдела издательства «Молодая гвардия», потом работал в Детиздате. Перед войной опубликовал переводы из Роберта Бёрнса и английских баллад. В 1948 г. получил сталинскую премию за перевод сонетов Шекспира.

## Из «СОНЕТОВ» Вильяма Шекспира

### 8.

Ты — музыка, но звукам музыкальным
Ты внемлешь с непонятною тоской.
Зачем же любишь то, что так печально,
Встречаешь муку радостью такой?

Где тайная причина этой муки?
Не потому ли грустью ты объят,
Что стройно согласованные звуки
Упреком одиночеству звучат?

Прислушайся, как дружественно струны
Вступают в строй и голос подают, —
Как будто мать, отец и отрок юный
В счастливом единении поют.

Нам говорит согласье струн в концерте,
Что одинокий путь подобен смерти.

## 30.

Когда на суд безмолвных, тайных дум
Я вызываю голоса былого, —
Утраты все приходят мне на ум,
И старой болью я болею снова.

Из глаз, не знавших слез, я слезы лью
О тех, кого во тьме таит могила,
Ищу любовь погибшую свою
И всё, что в жизни мне казалось мило.

Веду я счет потерянному мной
И ужасаюсь вновь потере каждой,
И вновь плачу я дорогой ценой
За то, за что платил уже однажды!

Но прошлое я нахожу в тебе
И все готов простить своей судьбе.

## 64.

Мы видели, как времени рука
Срывает всё, во что рядится время,
Как сносят башню гордую века
И рушит медь тысячелетий бремя,

Как пядь за пядью у прибрежных стран
Захватывает землю зыбь морская,
Меж тем как суша грабит океан,
Расход приходом мощным покрывая,

Как пробегает дней круговорот
И королевства близятся к распаду...
Всё говорит о том, что час пробьет —
И время унесет мою отраду.

А это смерть!.. Печален мой удел.
Каким я хрупким счастьем овладел!

73.

То время года видишь ты во мне,
Когда один-другой багряный лист
От холода трепещет в вышине —
На хорах, где умолк веселый свист.

Во мне ты видишь тот вечерний час,
Когда поблек на западе закат
И купол неба, отнятый у нас,
Подобьем смерти — сумраком объят.

Во мне ты видишь блеск того огня,
Который гаснет в пепле прошлых дней,
И то, что жизнью было для меня,
Могилою становится моей.

Ты видишь всё. Но близостью конца
Теснее наши связаны сердца!

76.

Увы, мой стих не блещет новизной,
Разнообразьем перемен нежданных.
Не поискать ли мне тропы иной,
Приемов новых, сочетаний странных?

Я повторяю прежнее опять,
В одежде старой появляюсь снова.
И кажется, по имени назвать
Меня в стихах любое может слово.

Всё это оттого, что вновь и вновь
Решаю я одну свою задачу:
Я о тебе пишу, моя любовь,
И то же сердце, те же силы трачу.

Всё то же солнце ходит надо мной,
Но и оно не блещет новизной.

130.

Ее глаза на звезды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч открытых кожа,
И черной проволокой вьется прядь.

С дамасской розой, алой или белой,
Нельзя сравнить оттенок этих щек.
А тело пахнет так, как пахнет тело,
Не как фиалки нежный лепесток.

Ты не найдешь в ней совершенных линий,
Особенного света на челе.
Не знаю я, как шествуют богини,
Но милая ступает по земле.

И всё ж она уступит тем едва ли,
Кого в сравненьях пышных оболгали.

# Борис Леонидович ПАСТЕРНАК

(биографию см. перед его оригинальными стихами).

## В. ШЕКСПИР

### ЗИМА

### (Из комедии «Тщетные усилия любви»)

Когда в сосульках сеновал,
И дуют в руки на дворе,
И Том дрова приносит в зал,
И мерзнет молоко в ведре,
И стынет кровь, и всюду грязь,
Заводит сыч, во тьму вперясь:
Ту-гу!
Ту-ит, ту-гу! Ну и певун!
Вся в сале, Анна трет чугун.
Когда от кашля прихожан
Не слышно пасторовых слов,
И птицы хохлятся в буран,
И у Марьяны нос багров,
И прыщут груши в кипятке,
Заводит филин вдалеке:
Ту-гу!
Ту-ит, ту-гу! Ну и певун!
Вся в сале, Анна трет чугун.

## В. ШЕКСПИР — РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА.

### Монолог Меркуцио (Акт I, IV).

Ну, это королевы Маб проказы.
Она родоприемница у фей
И по размерам с камушек агата
У мэра в перстне. По ночам она
На шестерне пылинок цугом ездит
Вдоль по носам у нас, пока мы спим.
Из лапок паука в колесах спицы,
Каретный верх из крыльев саранчи,
Ремни гужей из ниток паутины
И хомуты из капелек росы.
На кость сверчка накручен хлыст из пены.
Комар на козлах ростом с червячка,
Из тех, которые от сонной лени
Заводятся в ногтях у мастериц.
Ее возок — пустой лесной орешек,
И весь отделан белкой и жуком,
Старинными каретниками эльфов.
Она пересекает по ночам
Мозг любящих, которым снится нежность,
Горбы вельмож, которым снится двор,
Усы судей, которым снятся взятки,
И губы дев, которым снится страсть.
Их фея Маб прыщами покрывает
За то, что падки к сладким пирожкам.
Подкатит к переносице сутяги,
И он почует тяжбы аромат.
Щетинкой под ноздрею пощекочет
У пастора, и тот увидит сон
Про перевод в другое благочинье.
С разбега ринется за воротник

Служивому, и этому приснятся
Побоища, испанские клинки
И чары в два ведра и барабаны.
В испуге вскакивает он со сна
И крестится, дрожа, и засыпает,
Всё это плутни королевы Маб.
Она в конюшнях гривы заплетает
И волосы сбивает колтуном,
Который расплетать небезопасно.
Под нею стонут девушки во сне,
Заранее готовясь к материнству.
Вот это Маб...

## В. ШЕКСПИР — ГАМЛЕТ

### Монолог Гамлета (Акт III, I).

Быть иль не быть, вот в чем вопрос.
Достойно ль
Терпеть без ропота позор судьбы
Иль надо оказать сопротивленье,
Восстать, вооружиться, победить
Или погибнуть? Умереть. Забыться
И знать, что этим обрываешь цепь
Сердечных мук и тысячи лишений,
Присущих телу. Это ли не цель
Желанная? Скончаться. Сном забыться.
Уснуть... И видеть сны? Вот и ответ.
Какие сны в том смертном сне приснятся,
Когда покров земного чувства снят?
Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет
Несчастьям нашим жизнь на столько лет.
А то кто снес бы ложное величье
Правителей, невежество вельмож,
Всеобщее притворство, невозможность
Излить себя, несчастную любовь
И призрачность заслуг в глазах ничтожеств,
Когда так просто сводит все концы
Удар кинжала? Кто бы согласился,
Кряхтя, под ношей жизненной плестись,
Когда бы неизвестность после смерти,
Боязнь страны, откуда ни один
Не возвращался, не склоняла воли
Мириться лучше со знакомым злом,
Чем бегством к незнакомому стремиться?
Так малодушничает наша мысль

И вянет, как цветок, решимость наша
В бесплодье умственного тупика.
Так погибают замыслы с размахом,
Вначале обещавшие успех,
От долгих отлагательств. Но довольно!
Офелия! О радость! Помяни
Мои грехи в своих молитвах, нимфа...

## В. ШЕКСПИР — ГАМЛЕТ.

### Молитва короля (Акт III, 3).

Удушлив смрад злодейства моего.
На мне печать древнейшего проклятья:
Убийство брата. Жаждою горю,
Всем сердцем рвусь, но не могу молиться.
Помилованья нет такой вине.
Как человек с колеблющейся целью,
Не знаю, что начать, и ничего
Не делаю. Когда бы кровью брата
Был весь покрыт я, разве и тогда
Омыть не в силах небо эти руки?
Что делала бы благость без злодейств?
Кого б тогда прощало милосердье?
Мы молимся, чтоб Бог нам не дал пасть
Иль вызволил из глубины паденья.
Отчаиваться рано. Выше взор!
Я пал, чтоб встать. Какими же словами
Молиться тут? «Прости убийство мне»?
Нет, так нельзя. Я не вернул добычи.
При мне всё то, зачем я убивал:
Моя корона, край и королева.
За что прощать того, кто тверд в грехе?
У нас не редкость, правда, что преступник
Грозится пальцем в золотых перстнях,
И самые плоды его злодейства
Есть откуп от законности. Не то
Там наверху. Там в подлинности голой
Лежат деянья наши без прикрас,
И мы должны на очной ставке с прошлым
Держать ответ. Так что же? Как мне быть?

Покаяться? Раскаянье всесильно.
Но что, когда и каяться нельзя.
Мучение! О грудь, чернее смерти!
О лужа, где, барахтаясь, душа
Всё глубже вязнет! Ангелы, на помощь!
Скорей, колени, гнитесь! Сердца сталь,
Стань, как хрящи новорожденных, мягкой!
Все поправимо.

## ДЖОН КИТС

### ОДА К ОСЕНИ

Пора плодоношенья и дождей!
Ты вместе с солнцем огибаешь мызу,
Советуясь, во сколько штук гроздей
Одеть лозу, обвившую карнизы;
Как яблоками отягченный ствол
У входа к дому опереть на колья,
И вспучить тыкву, и напыжить шейки
Лесных орехов, и как можно доле
Растить последние цветы для пчел,
Чтоб думали, что час их не прошел
И ломится в их клейкие ячейки.

Кто не видал тебя в воротах риг?
Забравшись на задворки экономий,
На сквозняке, раскинув воротник,
Ты, сидя, отдыхаешь на соломе;
Или, лицом упавши наперед
И бросив серп средь маков недожатых,
На полосе храпишь, подобно жнице;
Иль со снопом одоньев от богатых,
Подняв охапку, переходишь брод;
Или тисков подвертываешь гнет
И смотришь, как из яблок сидр сочится.

Где песни дней весенних, где они?
Не вспоминай, твои ничуть не хуже.
Когда зарею облака в тени
И пламенеет жнивий полукружье,

Звеня, роятся мошки у прудов,
Вытягиваясь в воздухе бессонном
То веретенами, то вереницей;
Как вдруг заблеют овцы по загонам;
Засвиристит кузнечик; из садов
Ударит крупной трелью реполов;
И ласточка с чириканьем промчится.

## ПЕТЕФИ

Кабаки не редкость здесь в стране,
Но из множества известных мне
Свет того не видел искони,
Что под вывескою «Заверни».
Раскачнувшись, чтобы сделать шаг,
Как гуляка, падает кабак,
Точно сползший на ухо картуз,
Съехал набок потолочный брус.

## ПОЛЬ ВЕРЛЕН

Средь необозримо
Унылой равнины
Снежинки от глины
Едва отличимы.

То выглянет бледно
Под тусклой латунью,
То канет бесследно
Во мглу новолунье.

Обрывками дыма
Со стертою гранью
Деревья в тумане
Проносятся мимо.

То выглянет бледно
Под тусклой латунью,
То канет бесследно
Во мглу новолунье.

Худые вороны
И злые волчицы,
На что вам и льститься
Зимой разъяренной?

Средь необозримо
Унылой равнины
Снежинки от глины
Едва отличимы.

## ПОЛЬ ВЕРЛЕН

### ТОМЛЕНЬЕ

Я — римский мир периода упадка,
Когда, встречая варваров рои,
Акростихи слагают в забытьи
Уже, как вечер, сдавшего порядка.

Душе от скуки нестерпимо гадко,
А говорят, на рубежах бои.
О не уметь сломить лета свои!
О не хотеть прожечь их без остатка!

О не хотеть, о не уметь уйти!
Всё выпито! Что тут, Батилл, смешного?
Всё выпито, всё съедено! Ни слова!

Лишь стих смешной, уже в огне почти,
Лишь раб дрянной, уже почти без дела,
Лишь грусть без объясненья и предела.

*Составитель приносит глубокую благодарность и выражает свою признательность библиотеке Калифорнийского университета за предоставленную ему возможность пользоваться книгами, а также проф. Г. П. Струве за ценные указания и обширный материал к этой антологии.*

# СОДЕРЖАНИЕ:

# II.

## ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ:



## НИКОЛАЙ КЛЮЕВ:

# III.

## СЕРГЕЙ ЕСЕНИН:



## ВИКТОР (ВЕЛЕМИР) ХЛЕБНИКОВ:

## ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ:



## БОРИС ПАСТЕРНАК:

## ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ:

# IV.

## НИКОЛАЙ ТИХОНОВ:



## ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ:

# V.

## ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ:



## НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ:



# VI.

## МИХАИЛ ЛОЗИНСКИЙ:

## САМУИЛ МАРШАК:



## БОРИС ПАСТЕРНАК:

Printed in U. S. A.
WALDON PRESS,
203 Wooster Street,
New York 12, N. Y.
 841